



Татьяна Соломатина

Большая собака

«Автор»

2009

Соломатина Т. Ю.

Большая собака / Т. Ю. Соломатина — «Автор», 2009

– Это книга о собаке? – спросите вы. – Нет! – ответим мы. – Тогда о хозяйке этой собаки? – Нет! – Тогда о чем же? – О Большой собаке. О Большой любви. О Большой нежности. "Большая собака" – новая книга Татьяны Соломатиной, автора уже известного читателю "врачебного романа" "Приемный покой" и сборника рассказов "Акушер-ха" (о веселом и грустном в жизни одной многопрофильной больницы).

© Соломатина Т. Ю., 2009

© Автор, 2009

Содержание

Пролог, который не надо читать	5
История бунта, или «Начало импрессионизма» (Дик)	7
История мученичества, или «Квинтэссенция сюрреализма» (Виля)	25
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Татьяна Соломатина

Большая собака, или «Эклектичная живописная вавилонская повесть о зарытом»

*Всему живому настоящему,
что с нами со всеми было, есть и будет:
детству, родителям, женщинам и мужчинам,
друзьям, врагам и равнодушным, людям и животным,
малым и большим родинам,
временам и пространствам —
мой художественный вымысел.*

Пролог, который не надо читать

Я люблю собак.

Фраза из разряда: «Я люблю детей». Или: «Я люблю свой город». И это запросто произнесут девяносто девять из ста. Но я люблю собак так, как Аркадий Аверченко любил детей. Он умел заглянуть внутрь самого отъявленного вруна и увидеть мечтателя. Не выдумщика, а именно мечтателя. Он смотрел не в Верочек, Лизонек и Мишань, а в мудрый и смелый двенадцатилетний дух, в уравнение взаимозаменяемости добра и зла, в истинно мужскую гневливость от малости, тотчас сменяющуюся бездной вселенского раскаяния. В непонимание и тем не менее приятие мира без претензий на перепланировку. Хотя на самом деле всё ещё проще – маленький мальчик Аркаша никогда и не покидал большого мужчину Аркадия Тимофеевича, тягающего пудовые гири под музыку во время работы в русском Крыму в газете «Юг России». Хотя, признаться честно, если бы старшим сестрам (шестерым!) не пришла в голову «забавная мысль заняться моим образованием», как позже писал сам Аверченко, он бы так и остался неграмотным. Да и после будущий «король смеха» окончил всего два класса городского реального училища. У него была другая школа – школа смен и смешений обстоятельств, характеров, лиц, профессий, империй, бытия. Случаются ещё интуитивно изначально гениальные мужчины. Впрочем, как и невеста от чего и кого – от природы – разумные собаки вне всяких чистопородных линий и дорогостоящих профессиональных дрессур.

Я люблю больших собак.

Маленькая собака – сродни коту. Она может быть умна. Непременно хитра. Мила, забавна и даже свирепа. Становясь при этом ещё более забавной. Ах, ути-пути, какое сопрано заливается! Ах, сюси-пуси, порву, как Тузик грелку, ваши тапки, раз вы так со мной!

Большие псы великодушны.

Лают крупным басом, и их фатальный укус молчалив и расчетлив. В них есть всё то, что и в маленьких детях Аверченко, и совсем нет в маленьких мужчинах. Те, как и маленькие собачки, милы на диванной подушке и сладострастно тяпают исподтишка.

Конечно же, со мной не согласятся владельцы зубастых хвостатых крошек, равно как и щетинистых бесхвостых крох. Или согласятся исключительно в пунктах «мил», «забавен» и «свиреп». Этого уже более чем достаточно. С последним предложением не согласятся редакторы. «Более», «чем» и «предостаточно». Экое ненужное нагромождение! Паскудное

захламление языка! Автор издевается над родной речью! Пусть бы себе подтрунивал над маленькими! Но над великим и могучим?!

Пока же совершенно справедливо возмущаются любезные всякому бумагомараке, как минимум фактом получения гонорара, читатели и не менее справедливо негодуют ненавидящие всякого так называемого автора вполне вменяемые редакторы и не совсем адекватные корректоры, с течением времени перестающие ненавидеть кого бы то ни было и всё более погружающиеся в сладостный безумный-безумный мир своих неведомых простым смертным читателям, авторам и редакторам, отношений с буквами, запятыми, точками, тире и прочих сакральных знаний, автор полезет потайными лазами путаной памяти к четырём сводчатым камерам большого сердца. Извлечёт из заветных шкатулок с хитроумными замками четыре истории и, сдув с них многолетнюю пыль и натерев до презентабельного блеска пастой своей фантазии, расскажет вам. О девочке. О девушке. О женщине. И об авторе. И в каждой истории непременно будет зарыта собака. Очень большая собака.

И вот ещё что хочет сказать автор в завершение *пролога, который не надо читать*: несмотря на то что этот текст для автора не любимое детище и уж тем более не смысл жизни, а просто-напросто – очередная написанная книга, он просит уважаемого читателя не отвлекаться на помешивание каши или загрузку белья в стиральную машину во время прочтения, а также не погружаться в тонкости, полутона, оттенки и аллюзии авторского изложения в метро или в городских пробках. На бегу можно перехватить бутерброд, но отнюдь не насладиться изысками фондю, требующими живого огня, хорошего вина и пристального внимания. Так что если вы на время отложите книгу – автор не обидится. Напротив. Автор умеет ждать. И дожидаться. Большого Мужчину. Большую Собаку. И Большого Читателя.

История бунта, или «Начало импрессионизма» (Дик)

*В плену у тьмы
Стенает зверь,
Мерцает око...
Как беспробудно одиноко
В глуши потерь.*

*Как мог открыть я в дом печальный,
нагретый ладаном свечей, из чувств
врата?
Как мог впустить я, путник дальний,
пустынный холод, стон врага
и руку обронить
в любви мерцающе-печальной?
Где птица бьётся
в бездонных искрах глаз
и в ожидании
уверенно
скушает смерть...
Я не жалею, и смеётся
пустынный зверь
над неизбежностью желаний.
Пусть прольётся
вся кровь земли,
где я, в миг схватки с нереальным
забуду...
помня о любви.*

Любите ли вы переулки 16-й станции Большого Фонтана¹ середины семидесятых прошлого века так, как люблю их я? Так бы и полетела туда, да простит меня великий драматург за аллюзию, где томится в ожидании вечернего грозового ливня просоленная крупным южным зноем мелкая степная сладкая пыль в крохотной тени созревших шелковиц. Туда, где девочка Поля пяти лет от роду восседает в трусах и белой майке в фиолетовых пятнах на толстом суку и маленькими грязными жадными пальчиками в заусеницах срывает приторную ягоду и с наслаждением запихивает себе в рот.

Наслаждение видимое, наигранное. Маленькую девочку Полю, признаться честно, уже тошнит от сахарных тутовых ягод. Но внизу стоит толстый неуклюжий большой Витька, друг и сосед, не умеющий лазать по деревьям. Ему нельзя, потому он и не умеет. У него лёгкие, аппендицит недавно вырезали, и двоюродный брат не так давно умер от лейкемии. Из-за последнего обстоятельства Витьке ещё и нельзя загорать. Даже в такую жару, расслаивающую пространство в растрёпанную прибоем медузу, на Витьке длинные штаны, застёгнутая рубашка с рука-

¹ Большой, Малый и Средний Фонтаны – эти названия в период постройки Одессы получили минерализованные источники, выходящие на одесском побережье из-под известняковой породы. По имени их позже названы курортные местности. До революции 1917 года на территории Большого Фонтана располагались преимущественно дачи. Позже, когда был построен водопровод и город перестал пользоваться водой из «фонтанов», название осталось. Вдоль побережья ходит трамвай, и от остановки «Среднефонтанская» начинается «пересчет» станций. В описываемые времена – 1970-е годы – 16-я станция Большого Фонтана (и весь Большой Фонтан) считалась достаточно престижным районом. Например, в Амбулаторном переулке находилась летняя резиденция секретаря одесского обкома партии. Теперь эту местность можно сравнить с московской Рублевкой. Непосредственно по побережью Большой Фонтан начинается от пляжа Аркадия.

вами и панамка пенсионерского фасона. Он бел, рыхл, и ему можно гулять только по Сиротскому переулку. Он дико завидует Поле, и если чего и вожделеет в этот миг, то лишь полного бидона шелковицы, висящего рядом с подружкой. Никак не её поцарапанных мосластых голых ног, не искусанных комарами коричневых тощих рук, не выбеленных Чёрным морем и ярким солнцем льняных локонов и уж тем более не её пухлой детской половой губы, выбившейся из-под широченных белых трусов самого целомудренного фасона в порыве азартного сбора пупырчатого, недостижимого для него, Витьки, десерта. Всё, что остается ему, – подбирать в пыли расквашенное в фиолетовую кровь, падающее оттуда, с недостижимых двухметровых зелёных небес, нечто, бывшее прежде фигурным тугим маленьким чудом.

– Сладкая, – блаженно шепчет он сам себе, облизывая липкий фиолетовый пальчик, и в такие моменты в нём парадоксальным образом уже угадывается будущий большой и серьёзный мужчина Виктор Михайлович. – Поля! Ну, скоро уже? – тут же меняя тональность, совсем не по-мужски ноет маленький глупый Витька, задрав голову.

– Щас! Я ещё не наелась! – кричит ему сверху Поля.

– Слазь! Пойдём в шалаш и поедим вместе! – попрошайничает Витька.

– Бидон уже полный, а тут ещё много! – вредничает Поля.

– Пошли! Меня Буся заругает, что я из переулка ушёл! – сердится Витька.

– Не заругает. Скажу, что это я тебя подговорила, – свысока отмахивается Поля.

Её обожает весь переулок, и Витькина грозная прабабка Буся скормливает первый стакан садовой земляники с грядок совсем не Витьке, а ей, Поле. «Может, потому, что у Витьки ещё и *аллергия*, – думает Поля, – от которой он сам становится похож на огромную землянику, если Буся скормит ему хоть одну ягоду? Правда, злая *аллергия* не трогает Витьку, если мама и папа не знают, что он ест ягоды из моего стакана. Это какая-то папина и мамина *аллергия*. Она кидается на моего болезного толстячка только по их команде «фас!», а когда они не видят – ленится и не нападает на Витьку. Чего на него нападать? Он безобиднее божьей коровки». Даже старик Пустобрех, гроза собственных детей и внуков, никогда не отказывает Поле, если ей войдёт в голову блажь идти за мидиями в пять утра.

– Айда! Не ори! Всю улицу перебудишь! – нахмутив брови, громко говорит старик Пустобрех и, прихватив бутербродов с «биточками» из кильки, пару розовых помидоров, называемых им загадочно и красиво – «микадо», и крупную «каменную» соль в крохотном газетном кулёчке, берёт в свою заскорузлую пенсионным огородничеством руку крохотную Полину ладошку, и они величественно шествуют по улице Долгой туда, вниз, к свежему утреннему почти пустынному морю.

– Старик, девочка и море, – ехидно хрюкает себе под нос пенсионер. – Понаделали мне кучу велосипедистов, метёлки. Нет, чтобы хоть у одной мужик бракоделом оказался, – строго говорит он пирамидальным тополям непонятные Поле фразы.

– Так они ж все время с нами просят! – как бы равнодушно замечает Поля в нежное девственное утро, ещё не познанное тяжким южным потным зноем.

Её давно интересует разношерстная голосистая компания родных и двоюродных «велосипедистов», сыновей многочисленных, обожаемых суровым Пустобрехом дочерей. Но мальчишки уже старые – самому младшему семь лет – и относятся к Поле с покровительственным пренебрежением и затаенной ревностью к деду, такому ласковому с ней, чужой девочкой, и такому равнодушному с ними, родными внуками. Ах, как бы она хотела проехать на раме настоящего взрослого велосипеда у настоящего взрослого тринадцатилетнего Макса в невероятную неведомую даль, полную ничьих абрикосов – до самой улицы Костанди.²

² Кириак Костанди (1852–1921) – русский художник, представитель импрессионизма. Родился в селе Дофиновке неподалеку от

– Много ты понимаешь, сикиявка!³ Просытся... Ты не просись. Ты *встань* и *иди*! Ты же вот встаешь и идёшь? – риторически вопрошает старик Пустобрех у старого каштана.

– Встаю и иду, – утвердительно кивает Поля нежному утру.

– Нет в тебе женской мудрости, и никогда не будет, – вдруг весело прищуривается старик Пустобрех прямо в Полю и щёлкает её по веснушчатому носу. – Всего-то делов – проснуться в семь утра, а не в пять, и твоя Костанди у тебя в кармане вместе с Максом и абрикосами.

– У меня нет карманов, – неизменно щёлкает в ответ Поля резинкой от трусов. – И как я могу встать в какие-то семь, если мне хочется сейчас, когда ещё нет волн, медуз и людей.

– Вот об этом я и говорю. Наплачешься ещё, – вздыхает старик Пустобрех в юную акацию. Поля тоже на всякий случай вздыхает, чтобы угодить своему другу, а не потому, что грустно. По правде говоря, она не понимает, чему тут вздыхать и почему для того, чтобы получить Костанди, Макса и абрикосы, надо отказываться от моря без волн, медуз и людей. В её, Полин, дне всё это вполне совмещается. Это и много чего другого. И дело вовсе не в расстановке фигур на поле, и не в тактике, и не в стратегии – папа недавно научил её играть в шахматы, – а в том, что вот он, огромный, прекрасный, воздушный и хрустящий, как киевский торт, что недавно привезла тётя Оля, – мир. Бери его, ешь его до отвала, всем хватит. Главное – не опоздать к чаю за круглым столом, когда собирается вся семья, а частенько и соседи, и можно услышать столько интересного, что дух захватывает. Хорошо, что никто не замечает захваченный дух, кроме разве что деда или Пустобреха, но ни тот ни другой не выдадут никому, кроме деревьев. А те умеют хранить тайны, хотя и не знают мудрёных слов «стратегия», «тактика» и тем более словосочетания «расстановка фигур».

– Поля, ну слазь уже! – канючит верный Витька.

Девочка глянула на солнце. У живущих на юге с рождения вырабатывается удивительная привычка – они смотрят на солнце, не прищуриваясь. Правда, у этой медали есть обратная сторона – волею судеб оказавшись на севере, они же не могут обойтись без солнцезащитных очков. Особенно зимой, когда белый снег так каменисто незыблем, так постоянно, ослепительно ярок. Это, пожалуй, единственное, что остается с южанами навсегда. Их умение смотреть прямо только в бесстыжее легкомысленное южное солнце, неловко пряча глаза от всех прочих солнц.

– Ладно, – смиростивилась, наконец, Поля, подумав лишь об обеде и чае.

Бабушка наверняка приготовила плов из мидий. Не могла не приготовить. Сколько бы Поля с Пустобрехом ни принесли до верха набитых сеток – всё будет обработано. Бабушка не терпит, когда «пропадает продукт». «Кто голодал, относится к еде с величайшим пиететом», – говорит бабушка загадочные слова.

– Я когда проголодалась, думала, что съем весь пирог. А смогла только два кусочка, – вздыхает Поля.

– Слава богу, деточка. Слава богу, – гладит бабушка Полю по голове, разговаривая, как и старик Пустобрех, не с девочкой, а с печкой или с окном. – Слава богу, что ты понимаешь, что такое «проголодаться», и дай бог, чтобы ты никогда не узнала, что такое «голодать».

– Бабушка! Ты что, не знаешь, что бога нет?! – говорит ей Поля.

– Я, солнышко, знаю, что бог есть, – отвечает Поле бабушка, не ходившая в церковь и не молившаяся последние лет шестьдесят. – Но тебе этого знать не обязательно. Да и не желательно вовсе. Это так прекрасно, так изысканно, Полина Георгиевна, – вдруг соскакивает бабушка с обычного сюсюканья на неведомую маленькой дочке коммуниста манеру обраще-

лёку от Одессы в семье греческого эмигранта К.К. Василькети, чьё видоизменённое отчество – Константириди – стало основой псевдонима Костанди.

³ Малёк, любая мелкая рыбёшка.

ния, – так нигилистично быть уверенной в том, что бога нет. Он любит быть незаметным и радуется, когда ему это удаётся. Он приходит на помощь тихо и лишь когда в его вмешательстве действительно нуждаются. А мишуры, лести и пафосных ритуалов он чужд. Ему это неинтересно. Он на это не отвлекается. Некогда ему. Ешь, детка, не думай ни о чём.

– Бабушка, а бог, которого нет, сидит на облаке, да? А в космос уже слетали, нет там никакого бога! – срезает Поля бабушку убийственным аргументом.

– Где угодно он «сидит», как ты изволишь выражаться. Хотя бы и на волнорезе, когда ты мидии обрываешь. Сидит и следит, чтобы ты не утонула.

– За этим, бабушка, старик Пустобрех следит! – объясняет Поля глупой бабушке.

– Вот он, старик Пустобрех, и есть бог, когда ты на волнорезе, – усмехается бабушка и, забыв о Поле, продолжает заниматься своими делами.

– Ну и ладно. Пусть бога и нет, только я ещё хочу таких бисквитов, как ты весной пекла в круглых банках. И чтобы изюма побольше.

– Непременно, детка, непременно. В следующем году.

– В следующем году?! – округляет глаза Поля. – Я, может, и не доживу вовсе аж до следующего-го-го-да, – по слогам произносит она, смакуя enormность непознаваемого ребёнком интервала времени. – Сейчас испеки.

– Ну, ладно. В субботу, – соглашается бабушка. – Вместе испечём. Действительно, вдруг одна из нас до следующего года не доживёт. Оставшаяся будет знать и уметь. Пару часов возни с тестом того стоят.

– Ладно. Шас. – Поля ещё пару минут сидит на ветке, чтобы Витька помучился. Ни за что в жизни она не признается ему, что завидует. Люто, бешено завидует его счастью, по сравнению с которым все разрешённые летние трусы, майки, походы со стариком Пустобрехом на свежее рассветное море за мидиями и морскими коньками и даже наплевательское отношение родителей к отсутствию панамки на льняной голове ничего не значат.

У Витьки есть собака. Большая собака.

БОЛЬШАЯ СОБАКА.

Огромная собака Дик.

Она, конечно, не то чтобы у Витьки. Вообще-то это Бусина собака. Огромный лохматый кобель-волкодав сидит на цепи и, сколько Поля помнит – то есть все свои долгие-долгие пять лет, – Дика ни разу с цепи не спускали. Всё лето он сидит в обособленном углу двора и подпускает только Бусю, всех остальных останавливая глухим равнодушным рычанием, помноженным на выражение морды. Настолько равнодушным и настолько помноженным, что ни малейшего сомнения в его намерениях не остаётся. Подойди кто-то ближе допустимого, и он будет укушен. Укушен тихо и жестоко. И Бусиной дочке – Витькиной бабушке, и Бусиному внуку – Витькиному отцу, и тем более самому Витьке строго-настрого запрещено подходить к Дик.

Царство Дика чуждо дачной безалаберности. Буся спускает пса с цепи лишь поздней осенью, когда её семейство уезжает в город, в Треугольный переулок, находящийся в четырёх кварталах от «зимней квартиры» Полиных родителей – это очень-очень далеко, и зимой к Витьке просто так не пойдёшь в трусах, майке и без взрослых. Тогда Бусины ворота и калитка закрываются наглухо на щеколду и навесной замок. Дик медленно обходит свои владения с лишь ему одному известным временным интервалом, а в между – ложится на асфальтовой дорожке, поглядывая на редких прохожих в подзаборную щёлочку. Лениво, сонно и как бы нехотя. Но стоит кому-то подойти к Бусиной калитке и не позвонить в отмеренное Диком время в пупочку звонка, как случайный ротозей или потенциальный злоумышленник знакомится с мордой Цербера ещё при жизни. Пёс единственным стремительным мягким движением мощного мускулистого тела забрасывает передние лапы поверх калитки, мгновение смот-

рит в глаза окаменевшего несчастного, бесшумно до предела раскрывает чёрную пасть, полную белоснежных зубов, и даёт очередь предупредительного уханья, сопровождаемую обильным выбросом слюны в лицо чужака.

Бусин огород не обносят никогда. С Бусино двора не исчезают велосипеды, резиновые сапоги и садовые ножницы.

С поздней весны до поздней же осени Дик – узник цепи. Он не рвётся, не заливается беспричинным лаем, требуя справедливости, и даже не отрабатывает пищу гавканьем на незнакомцев. Случайные люди во дворе не появляются, а брехать на тех, кто пришёл с хозяевами, – глупо. Это может себе позволить только зелёный юнец или пожизненный паяц, вжившийся в свою роль настолько, что уже забыл, какая она, собственно, жизнь. Всё это Поля читает в глазах Дика так же легко, как большие буквы на вывеске кинотеатра «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ».⁴ Дик никому не смотрит в глаза. Даже Бусе. Только Поле. Издалека. Когда Поля смотрит в глаза Дика. Издалека.

Дик не любит людей. Дик не любит Бусю. Он с ней сжился, как сживаются в долгом браке, связанном детьми и финансовыми обязательствами, давным-давно опостылевшие друг другу мужчина и женщина. Буся отвечает ему взаимностью нелюбви. Буся не любит Дика. И, вероятно, никогда не любила. Любил ли её Дик, сказать сложно. А сами собаки не говорят словами.

Дик притягивает Полю куда больше Костанди, Макса и абрикосов, вместе взятых. Но подойти к нему и растопить животное равнодушие, нежно погладив по заветной собачьей полоске – между глаз и по носу, – нет никакой возможности. Витька боится Дика больше смерти от неведомой лейкемии, маминой-папиной аллергии и пуще Буси. В те благословенные моменты, когда последней хотя бы пару минут нет во дворе, в саду или огороде, Поля начинает своё маленькое путешествие из шалаша в ареал саркастично усмехающегося Дика, очерившего пасть, глядя прямо ему в глаза. Но каждый раз толстый рыхлый трусливый Витька истерическим воем: «Бу-ся-а-а-а! Поля к Дикуну идё-о-о-от!!!» – оглашает весь Сиротский переулочек и окрестности, губя предприятие по обольщению пса на корню.

Номинально, детски Дик считается Витькиной собакой.

У Витьки есть собака. И не просто собака, а Дик. ДИК! И в этом есть его, Витькино, счастье, которого он, глупая сикилявка, не понимает! У него – есть собака. И, значит, счастье. У Поли – нет. У её бабушки есть круглогодичный дедушка, наверное, её, бабушкин, бог, которого она любит, а собаки нет. А у Буси есть бог Дик, которого она, дура, не любит. И глупый правнук Витька, боящийся бога Дика, как последняя тварь. Как будто бог – злая тётя, у которой ты в прошлом году украл первую редиску, и она теперь только и ждёт удобного случая, чтобы тебе отомстить! Или просто всегда злая тётя, вне зависимости от того, крал ты редиску или не крал. Бог, которого нет, – это на самом деле Дик, который есть. Только тупой рыхлый белесый Витька, похожий на червяка, живущего под собачьей какашкой в жару, этого не понимает. Он не понимает, а у него есть бог. Поля понимает, но у неё бога нет! И зависть поедает пятилетнюю девичью душу, как она сама поедает сейчас летнюю шелковицу лишь для того, чтобы устать глупого Витьку.

Она спрыгивает в пыль, злая, как сто чертей, оправляет трусы, одёргивает пятнистую майку и жёстко и коротко командует Витьке, как собаке:

⁴ Золотой Берег – ведущая к морю улица, а также – один из лучших пляжей Одессы, находящийся на 16-й станции Большого Фонтана. В описываемое время на 16-й станции находились универмаг «Золотой Берег», кинотеатр «Золотой Берег» и кафе «Золотой Берег».

– На! Неси бидон! За мной! – И решительно шагает по направлению к их Сиротскому переулку. Витька молча трусит сзади. Он всегда чувствует настроение своей подруги и умеет не нарываться.

Поля думает свои горько-шоколадные и кисло-сладкие зелёно-абрикосовые детские думы о Дике, таинственной улице Костанди, взрослом Максе с настоящим велосипедом и даже о том, что круглый толстяк Витька живёт в Треугольном переулке,⁵ хотя на подъезде его дома выведено известью «переулок Утёсова».⁶ Витька в его не дачной ипостаси представляется ей кругом внутри треугольника. Какую-то похожую картинку она видела у деда в чертежах. Одновременно же внутри неё, Поли, виднеется в клочкастой облачной вуали утёс, пересечённый игрушечными переулками, с кукольными домиками и крохотными абрикосовыми деревьями, между которыми гоняет Пустобрехово «племя велосипедистов». Там же и сам Пустобрех, и бабушка с дедушкой, и все запахи, звуки и вкусы, случившиеся с ней за пять долгих лет. Удивительно бездонна детская чаша познания. Не испытать жаждущему. Пока он, увы, не повзрослеет. И его не перестанут переполнять до краёв следы капель дождя на мокром песке, рваная страсть открытого огня, нежное изумрудное волнисто-колеблющееся кольцо бесконечности не окажется обычной водорослью ламинарией, а запах сирени не станет таким же обычным и неинтересным для обоняния, как старый английский замок для старого русского слесаря.

Но посреди всех этих запахов, звуков, вкусов, обрывков калейдоскопических мыслей и фантастических представлений главенствует Дик. Его заветная собачья полоска – между глаз и по носу. Его необычные человеческие глаза. Но не такие, как у Пустобреха, Буси или даже бабушки. Поля знает слова «любовь», «нежность», «страсть», «судьба», «ирония», «покорность», «усталость», «мудрость», «бунт», но не знает толком их значений. Вернее, их так много, этих предполагаемых значений, в её маленькой головке, что она никак не может договориться с ними о правилах игры. Хаотично комбинируясь, предощущения никак не хотят фиксироваться на единственно верной, единственно возможной картине мира.

Что-то невозможное должно произойти прямо сейчас. Настолько невозможное, что его суровая важность уже затмевает собой совокупность впечатлений от всего пережитого, да плюс лет десять наперёд авансом. Настолько важное, что невозможно определить – хорошее оно или плохое. Настолько сильное, что – страшно. Настолько страшное, что «вкусно», «сладко» и «замечательно»...

Эти слова Поля тоже знает. Как и знает, что такое «предощущение», не зная самого слова. Но это не то, что она испытывает животом, предвосхищая особо крупную мидию. И не то, что неприятной мятной тревогой холодит под коленками перед падением с разбега. Нет внятной трактовки возникающей из эфира аксиомы материализации (да простят автора все пятилетние дети за то, что он, повзрослев, пытается объяснить таким же взрослым читателям то, что нельзя объяснить, даже пережив). Что-то настолько *вкусное, и даже сладкое хорошее, и даже замечательное важное-преважное плохое и страшное* произойдёт прямо здесь, в их летнем Сиротском переулке. Прямо сейчас, когда толстый и глупый, замотанный в свои длинные одежды несчастный круглый Витька из Треугольного переулка Утёсова, пыхтя, тащит за ней бидон с шелковицей.

Аксиома не только не требует доказательств, но даже не ожидает их прихода. Поля не знает слова «фатальное» и ещё ни разу в жизни не слышала словосочетания «отрицание отрицания». Зато она отлично знает слово «собака». И это слово имеет одно единственное значение – «Дик».

⁵ Треугольным переулком назывался потому, что у его начала встречались три улицы – Успенская, Дегтярная и Щепной переулок.

⁶ В Треугольном переулке, на самой границе Молдаванки с центром, на углу Базарной улицы (в советские годы – улица Кирова), в двухэтажном доме № 11 родился Леонид Утёсов (Лазарь Вайсбейн).

– Поля. Не шевелись. Замри, – раздаётся где-то внутри шёпот старика Пустобреха, и поисковый шуп взгляда перемещается из множества внутренних миров в единственный внешний.

Старик почему-то сидит на заборе Полиного дома. Внезапно переулочек обрушивается на девочку лавиной звуков и движений. Где-то сзади падает наземь бидон, шурша рассыпавшейся шелковицей, и раздаётся истошный Витькин визг. «Заткнись, придурок!» – шипит старик Пустобрех. Из-за ворот подвывает плакальщицей Полина мама, по переулочку с неожиданной для её возраста прытью мечется маленькая крепкая Буся, издавая короткие возгласы: «Фу!», «Нельзя!», «Пшёл на место!», «Сделайте что-нибудь, Аркадий Семёныч!», «Он сбесился!», «Дети!!!» За ней молча, по-волчьи скалясь, огромной молчаливой тенью гоняется Дик. Кажется, что Бусино унижение и страх доставляют ему странную смесь удовольствия и страданий, и он ещё не решил окончательно, как поступить. Собака стремительно накидывается, цапает Бусю за старческую икру или за бедро, но не до кости – Дик легко перекусывает далеко не остеопорозные кости животных, убитых молодыми во славу украинского борща, – и мягко отпрыгивает, чтобы снова напасть. Это похоже на дикую, страшную и совсем не весёлую игру. При этом пёс контролирует периметр и редким коротким оглушающим лаем пресекает любые попытки вмешательства немногочисленных посторонних. Но не так страшна необильная старческая кровь, текущая по Бусиным сухим ногам из неглубоких укусов, лентясь свёртываться, как огонь *разумной* расчётливой жестокости, горящей в глазах её прежде верного пса. Нет. Он не безумен. Каков угодно, но не безумен.

– Дик!!! – радостно кричит Поля. – Ко мне!

Все окаменевают, включая страдающую от боли и ещё больше – от страха за маленьких мальчика и девочку Бусю. Никто не ахает в этой немой сцене, даже всегда излишне голосистая Полина мама. Даже Витька перестаёт всхлипывать и пищать: «Буся! Бусечка!!!» Все просто выпадают из места действия. Из пространства и времени. Из маленькой девочки и большой собаки.

Дик замирает и утробно рычит.

– Иди ко мне! Не бойся! Дикунша, иди ко мне!

Дик снижает обороты, и рык его становится похож не то на стон, не то на вздох. Он смотрит на Полю, не мигая и не отводя взгляд.

– Ко мне, Дикунша, Дикенсиче, Дикунский, хорошая животина Дик, умный пёс Дик, любимая собака Поли Дикунций! – выкрикивает она все втайне давно придуманные ему имена, все не раз проговоренные про себя обороты. Приседает на корточки и раскрывает тощие ручки для объятий.

Пёс сглатывает и, продолжая вибрировать, идёт к ней. Девочка обнимает его за мощную шею, целует в окровавленный Бусиной животворящей субстанцией нос и нежно гладит маленьким грязным детским пальчиком по заветной собачьей полоске – между глаз к носу. Дик замолкает, покорно-блаженно склоняет голову, глубоко вздыхает, освобождаясь от судороги, и закрывает глаза.

Автор руку даёт на отсечение, что в тот момент, когда пёс, спустя вечность, открыл свои волчьи очи, в них не было никакого адова костра, никакой жестокости, злобы или его обычного равнодушия. Только спокойное тепло очага, капли дождя, сменяющие хлёсткие струи грозы, и немое мудрое любящее: «Спасибо». И, квант времени спустя, прищуренно-ироничное, эдакое снисходительное: «Наплачешься ещё». Большие собаки, как и большие мужчины, до последнего вздоха прячут свою неизбывную нежность за высокомерием снисхождения. Особенно в присутствии посторонних.

В режиме реального времени, в котором, слава богу, дети и животные не живут, всё это происходит за пару минут.

Буся надевает на внезапно утихомирленного Полей бунтаря строгий ошейник, затягивая до гортанного хрипа, похожего на звуки агонии, и уводит в свою калитку. Сопливого Витьку берёт успокаивать на руки старик Пустобрех. К Поле кидается размороженная вновь потекшим временем мама и принимается ощупывать своё нисколько не испуганное, чрезвычайно задумавшееся чадо, брезгливо вытирать подолом красивого ситцевого сарафана человеческую кровь и собачью слюну с её хорошенькой мордашки, и при этом беспрестанно кудахчет, перебирая словами мусор всех ужасов сослагательного наклонения. «Бы-бы-бы-бы-бы... – слышится Поле, – ...пристрелить его, как собаку! Он же мог бы-бы-бы-бы-бы-бы-бы...»

– Мамочка! Дик и есть собака, – говорит Поля. – Что такое «пристрелить»?

Девочка жадна до новых слов и не всегда согласна с их положенными значениями. Гораздо приятнее, когда понимание слова приходит само, без знания изначального значения. Значение – это что-то вроде бумажной бирки «кукла Катя – цена 3 руб. 27 коп.». Потому что кукла никакая не Катя, а Вера, не говоря уже о том, что вовсе и не кукла, а девочка. А девочка не может стоять три рубля двадцать семь копеек. Живая девочка несколько не может стоять – она бесценная. Потому что живые девочки появляются из любви, а не из магазина, из капусты или от аистов. Так говорит дедушка. Просто надо найти любовь, и потом из неё появляются девочки. Поля не знает, где искать любовь, но догадывается, что если сильно-сильно любить Веру, то она оживёт. Поля не только сильно любит Веру, но даже умывает её, как девочку, одевает и даже как бы кормит. Но та пока не ест. И не оживает. Наверное, Поля её не слишком любит. Как ни стыдно это признать, но Дика она любит гораздо больше Веры, наверное, поэтому та до сих пор кукла Катя, хотя бумажка про это давно выкинута.

Но вот Дика она точно сильно любит, а он не становится живой девочкой. И очень даже хорошо, потому что, если Дик станет живой девочкой Верой, Поля почувствует себя очень глупо и даже его разлюбит. Дик – это Дик. Дик – это любовь. Ни из чего не появившаяся и ничего не появившаяся. И очень хорошо. Потому что ни у одной девочки Веры – кукольной или живой – нет заветной собачьей полоски. И вообще, что тут сравнивать какую-то девочку и большую собаку Дика!

Так что из любви появляются не только живые девочки. Из любви ничего не появляется, кроме любви. Любви – её самой по себе достаточно. Но дедушка никогда не врёт и всегда всё знает, так что наверняка из любви могут появиться ещё и живые девочки. Как из картошки появляется не только картошка, но ещё и стебли, и листья, и синие ягоды, и даже колорадский жук. А сама картошка появляется там, откуда она никуда и не исчезала – под землёй. Зачем они сажают эту картошку? Наверное, из любви к колорадскому жуку, которого они потом собирают в стеклянные банки из-под майонеза и сжигают. Жуки корчатся и трещат. Их нисколько не жалко, потому что слово «колорадский» неприятное, что бы оно там ни значило. Слово «жук» – лучше. Потому что есть ещё и майские жуки. Они очень красивые, блестяще-зелёные. Макс как-то раздавил майского жука велосипедом, и Поля очень расстроилась, потому что жужжащий искрящийся майский жук стал похож на разбитый ёлочный шар, из осколков которого что-то натекло. Что-то неприятное. Только что он был живой – и вот уже разбитый, и из него течёт неприятное. Видимо, это жидкое неприятное и есть жизнь? Но если колорадских жуков сжигают и истекающая из них липкая неприятная белесая жизнь сворачивается, опаливаясь, значит, их не любят? Зачем же тогда всё это? Поля уточняет у дедушки, зачем сажают картошку и почему то, что появляется из любви к картошке – стебли, листья и ягоды, которые нельзя есть, – засыхает, а колорадского жука и вовсе собирают и сжигают. Ведь то, что получилось из любви, нельзя сжигать, правда? И если хотят, чтобы из любви к картошке получилась картошка, то,

может, сразу её чистить и жарить, а не сажать, чтобы уничтожать колорадских жуков, а потом выкапывать из земли всё ту же самую картошку, а потом уже чистить и жарить?

– Сажают, потому что твоей бабушке делать нечего, пусть себе сажает. Она это любит, – улыбается дед. – «Из любви» же, да с именем Господа на правоверных устах, столько куда более любимых, чем колорадский жук, его творений было сожжено, что и не подсчитать, – грустно говорит Поле дедушка. – А в иных культах, в древних религиях человеческие и животные жертвы должны были обеспечить благоденствие и процветание. Возьми тех же ацтеков... – Дедушка продолжал красиво и непонятно рассказывать не то Поле, не то сам себе.

Поля брала «тех же ацтеков» и крутила их, и вертела про себя так и эдак, и из дедушкиных рассказов они выходили умными, образованными, красивыми, но почему-то какими-то ненастоящими. Мифическими. Чёрные дыры у дедушки получались куда более значительными и реальными, чем «те же ацтеки».

– Дедушка, с именем Господа, которого нет? – вспоминала Поля.

– Чак.⁷ Озирис. Зевс. Господь. Бог. Яхве. Иисус. Всего лишь слова. Глупо придавать значения словам. Бог – это не насильственное творение добра. Бог – это ненасильственное неделание зла. Не проповедуй те или иные абстрактные идеалы. Лучше сажай свою картошку. Иди, Поля, играй.

Поля шла и играла. И понимала, что глупо придавать значение словам. Так же глупо, как носить платье с этикеткой. Это взрослых интересует, сколько стоит и где сделано.

– Мэйд ин фэ-эр-гэ! – уважительно присвистывает папа, разглядывая подаренные ему дедушкой брюки. – Я, Андрей Палыч, парторг завода, меня за такое из рядов родимой КПСС погнать могут.

– А ты родимой КПСС изнанку не показывай, – говорит дедушка. – Я вот с таким же партибилетом в таких же хожу, и ничего.

– Вы, Палыч, для них мозг науки. А я – жопа производства, – смеётся папа, произнося запрещённое для Поля слово «хабалки Тamarки» с Псковской. – Такие штаны на капээсэсовскую задницу только с райкомовского уровня можно натягивать.

Дедушка с папой говорят каким-то набором букв, о значении которых ни спрашивать, ни задумываться не хочется. Главное – помнить, что из дома эти буквы выносить нельзя. Если вынести их из-за семейного стола, будет «полная жопа», хотя «на дворе и брежневская эпоха».

– Какая она, брежневская эпоха? – тщательно проговаривая незнакомое словосочетание, интересуется у дедушки Поля. – Я каждый день на дворе, нет там никакой эпохи, только лето.

– Она там, – тычет дедушка пальцем в телевизор, полный чёрно-белых рядов, заполненных чёрно-белыми людьми, восторженно аплодирующими чёрно-белому дряхлому старцу, стоящему на сцене за большим ящиком в центре. Ещё на сцене есть хор, только он почему-то не стоит и не поёт, а тоже чёрно-бело сидит в чёрно-белых рядах и изо всех сил хлопает. Хлопают, хлопают, а потом встают и продолжают хлопать.

– ...перешли в овацию. Близится снисхождение массовой благодати. Генеральный секретарь ЦК КПСС принудительно кормит миллионную армию поневоле верующих тремя источниками и тремя составными частями, – насмешливо говорит дедушка.

Поля не понимает значения слов, но ей становится смешно, и она смеётся.

– Папа! – почему-то укоризненно говорит мама и косится на Полю.

– Оставь, бога ради! – отмахивается дед. – Она – малая, я – старый, что с нас взять?

Не нужны никому этикетки. Особенно малым и старым. Хотя вот Ритка с угла, хоть и тоже малая, а ходит в шортах, на которых на верёвочке висит здоровенный кусок картона с

⁷ Один из богов майя.

иностранными словами, как у дедушки на корешках толстых книг и на этикетках красивых бутылок, что стоят на полке в кабинете. И всем хвастает, что это ей дядя из рейса привёз. И не только, а ещё и «джинсовые штаны». Дура эта Ритка с угла. Поля ей как-то по секрету рассказала, что кукла Катя скоро-скоро станет живой девочкой Верой из Полиной любви, а Ритка всем растрепала, и все над Полей смеялись. Особенно Пустобрехов Макс. Было очень обидно. Ещё обиднее было то, что Поля расплакалась от злости на их глупость. И это было ещё глупее, чем их злость. Дедушка говорит, что на дураков нельзя обижаться, их уже и так бог обидел. Дураков надо жалеть, но у Поли не получается жалеть дураков. Поля очень-очень злая на дураков. Наверное, поэтому пластмассовая Катя и не становится живой девочкой Верой. Сама дура! Ну её! К тому же от пластмассовой Кати никаких секретов хранить не надо, а живой девочке Вере что-то расскажешь – пиши пропало. Пластмассовую Катю, когда надоест, можно положить в ящик с игрушками, а живую девочку Веру придётся нянчить до конца своих дней и брать её везде с собой. Ужас! У Поли из любви уже есть дедушка и теперь почти уже есть Дик. Ну и пусть даже Витька. Он хоть и тоже дурак, и ему ничего нельзя, зато он верит, что Катя станет Верой, и даже её баюкал по-настоящему и не смеялся. Хватит Поле того, что у неё уже есть из любви.

А сейчас Поле не смешно, как бывает смешно или грустно без значений и даже без слов с дедушкой или с Витькой. Как это Дика надо *пристрелить*, как собаку? Ей представляется, что псу надо что-то *подстелить*. Или *перестелить*. Наверное, ту ужасную тряпку, растрёпанный край которой свисает у него из будки. Наверняка такому красавцу, как Дик, противно лежать на такой замурзанной ветхой подстилке, и теперь Буся пошла ему перестелить этот кошмар на что-то более подходящее. Поля с удовольствием подарит Дику свой плед, который дедушка привёз ей из гэдээр. Очень хороший магазин, этот гэдээр. Ни разу ещё дедушка не вернулся из этого гэдээр без полных чемоданов чего-нибудь совершенно удивительного. Такого, чего нет даже в московском ГУМе, где она с бабушкой побывала этим летом. Она уже просила дедушку взять её с собой в гэдээр хоть разочек и даже обещала не задавать глупых вопросов и хорошо себя вести. Она и так всегда хорошо себя ведёт, но взрослые любят, когда дети *обещают* хорошо себя вести. Если не пообещать, а просто хорошо себя вести, так они и не заметят, как ты хорошо себя ведёшь. Туда себя хорошо ведёшь. Сюда себя ещё лучше ведёшь. Сам себя ведёшь в разные стороны, и так удивительно тебе хорошо. Эх, наверняка в этот гэдээр не пускают с собаками. В большие красивые магазины никогда не пускают с собаками, даже если ты их очень хорошо ведёшь на коротком поводке.

Мама отправляет Полю умываться, так ничего и не рассказав о том, что Дику будут перестилать, как собаке. «Вечером потихоньку отнесу Бусе свой плед всё-таки. Чего они все так Бусю боятся? Она добрая, когда никто не видит. И ещё она всё время плачет, когда одна. Чистит картошку и плачет. Полет грядки и плачет. Поливает огурцы в теплице и плачет. Даже не замечает, что плачет. Плачет, а как только кто-то приходит – перестаёт. Только при мне плачет. Наверное, я умею быть невидимой. А мама с тётёй Олей и дочками Пустобреха потихоньку от дедушки говорили, что Буся мёртвая, потому что даже плакать не может. С тех пор, как получила похоронку на мужа. Я потом спросила у дедушки, что такое «похоронка», и он сказал, что это такое письменное извещение про то, что твоего родственника убили на войне. Я сказала дедушке по секрету, что Буся часто плачет, и ещё спросила, что такое «извещение», «война», и про то, когда же он возьмёт меня в магазин гэдээр. А дедушка только ответил: «Я знаю», добавил: «Тупые куры» – и ушёл. Надо ещё раз спросить, что такое «извещение», «война» и про гэдээр. И пусть лучше дедушка отнесёт Бусе мой плед, чтобы она перестелила Дику, как собаке. Как большой красивой умной собаке».

И Поля вдруг плачет, сидя на краю клумбы, глядя на буйно цветущую чайную розу.

«Почему я плачу? Тем более сейчас, когда никто не видит. Плакать надо, когда тебя не отпускают гулять или не дают съесть много ананасных конфет. Или если упал с качелей при маме и папе. Если падать, когда одна или с бабушкой, можно и не плакать. Это вовсе не больно, но многим взрослым нравится, когда ты плачешь после того, как упал. Я вот однажды так сильно ногу порезала, аж до мяса, и даже не заметила. А вошла во двор, мама как испугается, ну я и заплакала, чтобы её успокоить. Даже швы накладывали. По-честному, было не очень больно, потому что на ногу полили что-то небольшое, но мама говорила доктору, что я очень боюсь боли, и пришлось даже покричать и поотпихивать доктора руками, чтобы маме было приятно. Взрослым всегда приятно, если то, что они выдумали, оказывается правдой. Ради маминой правды можно и соврать, мне нетрудно. Я послушная девочка, не задаю глупых вопросов про почему трава зелёная, только очень умные – про то, когда в сердцевине звезды образуется железное ядро, и всегда хорошо себя веду. Почему же я сейчас плачу, если никого нет, кроме меня и розового куста? Я же не получала никаких похоронок про родственников и не мёртвая, как Буся, чтобы плакать сама с собой. Пойти к Витьке, что ли? Поплакать при нём? Мама говорит, что девочки к мальчикам первыми не должны ходить. А как же к такому, как Витька, не ходить первой? Он же сидит и глаза пучит. А то ещё и в носу ковыряет и козявки рассматривает. Я ему говорю: «Витька, во что будем играть?» – «Не знаю». – «Витька, о чём ты думаешь?» – «Не знаю». – «Витька, почему ты боишься Дика?» – «Не знаю». Стой там, иди сюда, как говорит старик Пустобрех. Пойду лучше при старике Пустобрехе поплачу. Старик Пустобрех всегда знает, во что играть и о чём он думает. Правда, слёзы уже кончились, но при нём можно ради правды и специально поплакать».

– Поля! Никуда со двора не ходи! – кричит мама с веранды. С веранды, под которую упало Полино сокровище – отполированная и покрытая лаком персиковая косточка. Прямо в щель между досками, и никак туда не добраться. Одиноко там прекрасной персиковой косточке, а зимой ещё будет холодно и страшно. Старик Пустобрех обещал сделать Поле бусы из персиковых косточек, а ей теперь стыдно напомнить, потому что одну готовую и даже просверленную она уронила в бездну. Бабушка очень любит это слово – «бездна». Ещё он любит слово «вселенная». И то и другое – это что-то огромное, как пространство под верандой. Надо сказать бабушке про косточку, он что-то придумает. И про плед, который надо перестелить для Дика, как собаке.

Поля бредёт к гамаку, подвешенному в уютной тени винограда, и засыпает. Во сне она гуляет в бусах из персиковых косточек, в платье, купленном бабушкой в магазине гэдээр, по Приморскому бульвару. Рядом с ней мерно вышагивает красиво расчёсанный, пахнущий ванильным печеньем шерстяной Дик и, добродушно повилывая хвостом, рассказывает Поле про бездну вселенной. Так красиво рассказывает, что она ничего не понимает, а просто сразу всё знает. Во сне у Дика красивый бархатный взрослый мужской голос, похожий на бабушкин нарочитостью буквы «а», но не такой. И когда играют часы, Дик подпевает другими, более правильными словами: «ты – сердце моё, навеки со мной, Полина, мой персик родной!» Иногда он поёт «ангел», а иногда почему-то «фунтик». Так её называет старик Пустобрех, когда не лается сикилявкой, и Поля сердится. Но когда Дик поёт её «фунтиком», это отчего-то приятно. На них все смотрят, и другие девочки завидуют Поле, а другие большие собаки завидуют Дик. Очень красивый сон снится Поле, и так жаль уже во сне предощущать, что это неправда. Хотя эта неправда правдивее всех взрослых правд. Вот они уже доходят до колоннады Воронцова, Поля садится на парапет, расправляет платице, приглашает Дика улечься рядом и зачем-то говорит ему: «Подожди! Сидеть! Сейчас я тебе перестелю, как собаке, тогда и ляжешь!» – хотя никакого пледа у неё с собой нет. Ей становится холодно и страшно там, во сне. Она просыпа-

ется и снова плачет сама с собой, как мёртвая. Хотя всего лишь ранний вечер и солнце скрылось за домом, и просто кожа в тени винограда покрылась озябшими пупырышками.

Поздним вечером, когда темно, Поля взбирается на самое безопасное место в бездне вселенной – на колени к вернувшемуся с работы деду. У деда на коленях позволено всё: не ложиться спать вовремя; не есть то, что не хочется; вмешиваться в разговоры взрослых, не рискуя быть унизительно публично одёрнутой; не «знать своё место» и спрашивать всякие глупости не про барионы и мезоны, чтобы чужие взрослые восхищались, а про зелёную траву и голубое небо. Абсолютной свобода дедовой любимицы становится, когда старик Пустобрех и дедушка выпивают вечерний самогон, извлекаемый из лунного глобуса. Так называется большой, пыльный, изрезанный кривыми переулками и даже площадями желтовато-коричневатым шар, который дед выносит на веранду и разламывает пополам каждый вечер ровно в десять.

– Надо же. Такой гарный, умный, ладный собака – и сбесився, – выговаривает деду старик Пустобрех, после первого стакана картинно-вычурно переходя на южнорусское аргю. Любит он, доктор филологических наук Аркадий Семёнович Штерн, этот рождённый в браке постоянной пыльной степи и страстно переменчивого моря язык-хулиган.

– Со всеми бывает. Не переживай.

– Хорошо, хоть детей не замах. Мы тут чуть с ума не сошли. Вы все на работе. Буся – древняя старуха...

– Хорош стенать, Аркадий Семёныч, – усмехается дед, вновь наполняя гранёные стопки остро пахнущей жидкостью. – Все индульгенции тебе уже выписаны. Буся, та, что «древняя старуха» по твоему разумению, любого волкодава сожрёт и не подавится, если жизнь близких под угрозой. Польшка – заговоренная на всю свою долгую счастливую женскую жизнь, уж поверь. А где эта девочка, – гладит дедушка Полю по голове, – там ни Бусиному, ни какому другому сопляку лиха не будет, одни только полезные слёзы. Понял? Ну, давай. За упокой всех мятежных душ.

– Рано ещё за упокой. Давай всё-таки за здоровье.

– Ну, давай, Семёныч, если полагаешь, что так правильнее.

– Ну так, живой он ещё. Грех за упокой живого пить.

– Нет, Аркашка. Он уже мёртв. Он умер в тот самый момент, когда решил с Бусей поквитаться за нелюбовь. Если ты понимаешь, о чём я.

– Ну, так, а чего это нелюбовь? – В присутствии деда старик Пустобрех становится как-то мельче, незначительнее и глупее, чем наедине с Полей и утренним, полным мидиями морем. Его куда быстрее «развозит», чем деда, и он вдруг начинает говорить то как торговка из вкусно пахнущей на всю трамвайную остановку «будки» с хлебом, а то и нукать, как Стёпа с улицы Писарева. – Или она его не кормила, ну? Ещё как кормила. Отборно. Или била она его, ну? Ни разу Буся пса не ударила, бог свидетель.

– И кормила, Аркаша, и не била. Но – не любила. От этого пёс и умер.

– Дедушка, – внезапно повзрослевшим *женским* голосом говорит пятилетняя Поля, – это я его убила! – Говорит и осознаёт своим крохотным *человеческим* разумом прикладной аспект повиновения, случившегося с Диком после её непредвиденного вмешательства в выстроенную псом мизансцену финала.

– Дедушка! – рыдает Поля при взрослых совершенно честно, искренне, оплакивая себя и всё, что произошло. – Я позвала Дика, и он пришёл. А после этого Буся стала душить его ремешком с железными шипами!

Ужас содеянного обрушивается так внезапно и так мощно, что даже слёзы катятся из глаз, как у древней Буси. Слёзы, эти надёжные защитники маленьких детей от всех невзгод, вдруг

идут и идут сами по себе. Не помогая манипулировать взрослыми фигурами, а просто потому, что идут. Идут себе куда-то мимо по своим горестным слёзным делам, не смывая боль. Идут и уходят, а Поля остается в чём есть – в бездне вселенской тоски по Большой Собаке Дикю.

– Ты его спасла, глупышка. Исповедовала. Простила. Ты дала ему то, чего у него никогда не было, – любовь. В тот момент ты это понимала. Душой. Ты его, Дика, бог. Понявший его бунт и принявший его покаяние. Всё остальное – механика разума! Вытри сопли! – Дед гневно стучает пустым стаканом по столу и крепко прижимает Полю к себе. «Сопли» сами вытираются о вкусно пахнущую солёным потом, табаком и самогоном крепкую дедову грудь, всю в седых шерстяных волосах.

Тишину благоухающего близким морем Сиротского переулочка на мгновение разрывает громкий звук. Как будто компания «плохих мальчишек» с Тимирязевской опять бросает гильзы в костёр. Но звук одиночный, громче и ближе.

– Степан всё-таки молодец. И Буся тоже, – уже спокойно говорит дедушка. – Ну, теперь можно и за упокой, Пустобрех, чтобы твои понятия о ритуалах соблюсти.

– Давай. Не чокаясь. Славный был пёс. Умный. И добрый. Когда-то добрый. Пока его не выела до пустоты нелюбовь.

– Ты – филолог. Но поверь физику – пустоты не существует.

Старики молча выпивают, не сталкивая стопки гранями.

– Дедушка, а что это был за шум? – спрашивает Поля, уже зная – не в словах, не в значениях и не в определениях – ответ.

– Это, Полюшка, выстрел. Дика застрелили. И это, детка, правильно. У собак только один бог – человек. Преступление против человека для собаки – смертный грех, смертью и караемый. Умерщвлением плоти. Но как я уже сказал твоему любимому пажу старику Пустобреху, Дик осознанно принял решение умереть, потому что жить в нелюбви страшнее смерти.

– Но ты же, дедушка, только что сказал, что я его, Дика, бог и что я его спасла, и вот это странное слово...

– Исповедовала.

– Да. И почему-то простила. За что?

– За грех, детка. За грех. Простила за прегрешение против самого себя. Ангел восставший, отвергающий прощение, жаждущий любви, но любви не принимающий – суть Дьявол. И он мог им стать. Мало одной жажды. Измученный жаждой безумец может и не заметить живительного источника. Дик заметил и приник.

Старик Пустобрех украдкой смаргивает слёзы и лезет в карман брюк за носовым платком.

– Ох, и ядрёная у тебя самогонка, Палыч, – крикает он, скрадывая неловкость.

– Долго опыты ставил. Самого пробирает, – говорит дедушка старому другу и смотрит в сторону.

– Дедушка, что он заметил и куда приник? – спрашивает Поля.

Дед с минутой молчит.

– Поленька, это потом. Потом будет всё. – Он внимательно смотрит ей в глаза. Прямо в зрачки. Как Дик. – Это всё будет потом, если ты не забудешь, если не излечишь разумом гениальное детское сумасшествие. Ты поймёшь, куда ведёт этот туннель, этот пространственно-временной мостик, образующийся по мере приближения к веществу большой плотности. Поймёшь, что эта воронка не заканчивается на веществе, да и не в веществе дело, а в тех самых недостижимых скоростях, достигаемых не веществом, но духом.⁸ Ну, не то чтобы поймёшь,

⁸ Предельное искривление – пространственно-временной мостик, образующийся по мере приближения к веществу большой плотности, когда пространство изгибается всё сильнее и становится похоже на бутылочное горлышко или воронку, кото-

но когда-нибудь это будет принято тобой без бесплодных бесконечных попыток сформулировать. Смерть тела – это не конец. Конец всему наступает без любви – без того, что не поддаётся вычислениям, расчётам, без того уравнения, что не имеет решения, без того, что позволяет достичь каких угодно скоростей. Дик получил то, чего всегда хотел, ради чего и для чего он, как и любая другая тварь божья, пришёл в этот мир и жил. И мы все живём. Любовь. Он получил любовь. Какая разница, когда. Не имеет значения, как надолго. Тут все эти категории вроде пространства и времени не имеют значения. Принявший любовь прощён и вечен. Он везде. Величина постоянная. Не принявший – никогда и не был ничем, кроме изначального балласта, сокращение которого ничего не изменит по обе стороны равности.

– Дедушка, можно мы пойдём, посмотрим на Дика?

Поля хочет просто видеть Дика. Она не понимает, о чём говорит дед. Но у неё очень хорошая память. Как коробка с игрушками – даже если забыть, что там, где-то на дне, валяется деталь от конструктора, то рано или поздно, наводя порядок, ты её найдёшь. Мама говорит, что дед портит Полю. Но сейчас надо просто видеть Дика. Сохранить. Убедиться. Что? В чём? Она не ответит и самой себе. Ей важно увидеть *застреленного* Дика. И это не вопрос любопытства. Это просто важно. Зачем вы, взрослые, целуете своих мертвецов? У вас есть ответ? Последний вопрос риторический. Автору, как и маленькой Поле, ответа не требуется. Важно. Просто важно. Сложить в коробку своей памяти, чтобы рано или поздно найти ту самую единственную недостающую деталь единственно твоей картины мира.

Но кто поймёт пятилетнего ребёнка, жаждущего прикоснуться к тому, что было живо, а теперь... стало тем, что мы, разумные взрослые, знающие значения слов, называем трупом. Кто поймёт девочку, жаждущую потрогать чужую собаку, которая перестала быть жива? Кто угодно, но только не мама и папа, от которых частенько бывают аллергии, конфеты, смех и слёзы и умные ответы на глупые вопросы про траву и небо, а также универсальный глупый ответ «подрастёшь – узнаешь!» на умные вопросы про любовь, рождение, смерть и вечность. Благо у Поли очень умный дедушка, не задающий глупых вопросов, хотя и любящий давать множество мудрёных пространных ответов ни про что. Хорошо, что в середине семидесятых прошлого века на 16-й станции Большого Фонтана нет детских психологов, всё объясняющих нечаянно обнажённой пухлой детской половой губой, патологическими фиксациями и прочими терминами, не имеющими зачастую ничего общего с происходящим в действительности. Взрослый автор в силу сатирического, если не сказать цинично-саркастического, тридцатидевятилетнего опыта наблюдения за человеческой природой уже слышит этот вполне возможный диалог:

– *Значит, вы утверждаете, что когда вам было пять лет, вы страстно хотели потрогать мёртвую собаку?*

– Да.

– *Как вы себе представляли эту собаку? Она была большая? Маленькая? Чёрная? Белая? Добрая? Злая?*

– *Я не представляла себе эту собаку. Это была реальная настоящая мёртвая большая собака, похожая на волка. Есть такая порода собак – волкодав. Я хотела её потрогать и потрогала, – выходит из себя пациентка.*

Психоаналитик нервно перебирает руками.

– Э-э-э... Скажите, вам никогда не хотелось мучить кошек?

– Нет, нет и нет!!! Мне никогда не хотелось никого мучить! Ни кошек, ни собак, ни людей! Я не отрывала крылья мухам и не занималась онанизмом, представляя себе трахаю-

рая, как считал А. Эйнштейн, может вести в другую Вселенную. Дальнейшие расчёты показали, что для прохождения сквозь пространственно-временной туннель потребуются скорости, большие, чем световая, что, согласно специальной теории относительности, невозможно. Видимо, Полин дедушка считает иначе или попросту не боится бездн другой Вселенной.

ищихся кроликов, папу с мамой в спальне а-ля садо-мазо и дедушкин портрет с полковничьими погонами, откуда-то взявшимися на плечах у доктора отнюдь не военных наук, работающего над, как это называлось, мирным атомом в каждом хлеву. И никогда в последующем у меня не было сексуальных фантазий на тему больших собак, маленьких толстых болезненных мальчиков и красивых бронзовых, тронутых патиной старушек. Я просто в конкретный момент моего длинно прожитого короткого времени хотела потрогать конкретную мёртвую застреленную соседскую крупную, чёрную, не злую и не добрую собаку породы волкодав по кличке Дик. И если получится, то и перестелить ей гэдээровский плед, как собаке. Как достойной Большой Собаке. И у меня получилось! – Пациентка ловко вскакивает с кресла, показывает психоаналитику неприличный жест и, хлопнув дверью, уносится прочь.

Дед ловко стряхивает Полю с колен, целует её в глаза, встаёт и протягивает руку:

– Пошли.

Старик Пустобрех машет руками и охает:

– Андрей Палыч, старый ты дурак, хоть и весь уважаемый учёный. Пятилетнюю девчонку на труп собаки поведёшь смотреть?

– Заткнись, – коротко кидает дед.

– Дедушка, возьми из моей комнаты плед, который ты купил мне в магазине гэдээр, – просит Поля.

Деда нет минуты три.

Он выходит с пледом, и они идут к Бусиной калитке.

На веранде старик Пустобрех наливает себе стакан самогона.

Поля не слышит, что дед говорит Бусе. Но Буся согласно кивает головой и уходит в ночь сада. Лишь белые пятна бинтов пунктиром прочерчивают путь её ног.

То, что лежит на цепи в обширном угловом летнем владении пса, мало походит на Дика. Не та шерсть. Закрытые не для сна глаза. Он не чуток и впервые не деланно равнодушен. Его нет. Даже в плюшевой игрушке больше смысла, чем в том, что лежит, неловко закинувшись на бок. Дик никогда не был так неподвижен. Непластичен. Не жив.

– Потому что это не он. Не совсем он, – отвечает дед на незаданный вопрос. – Дик уже далеко. Это просто оболочка формы существования белковых тел. Дик больше не корпускула. Не вещество. Дик, если тебе угодно, квант.⁹ Квант бытия. Теперь у него другая форма существования.

Но Поля все равно гладит «оболочку» Дика маленьким грязным детским пальчиком по заветной собачьей полоске – между глаз и по носу. На пальце остаётся красный липкий след. Она машинально слизывает его.

– Солёное.

– А какое же ещё? Жизнь – солёная субстанция. Соли – они основания. Основы. «Десерт» гниения, разложения – кисло-сладок. «Суп» живущего, живого – солон. Как пот. Как слёзы. Как кровь. Как море... Держи плед. Сейчас я его подниму, и ты ему *перестелешь*. Буся сказала, что похоронит его в твоём пледе. В саду. Сама.

Старый сильный мужчина поднимает тяжёлый труп Большой Собаки, и маленькая тонкая девочка аккуратно расправляет на отчего-то вдруг буром украинском чернозёме красивый шерстяной плед, весь в крошках ванильного печенья.

⁹ В физике – неделимая порция какой-либо величины.

– Дедушка, ты плачешь? Как Буся? Для тебя я тоже невидимка? Нужно плакать? Если по-честному, я сейчас не хочу. Мне вдруг не больно, как будто кто-то полил внутрь меня, туда, где болело, – она тыкает пальчиком куда-то в диафрагму, – чего-то небольшого.

– Нет, детка, ты не невидимка. Ты – видимка. Ты видишь то, на что другие только смотрят, – говорит дедушка. – И я плачу не по Дику. Я плачу по неспособности любить всех, кого должен любить.

– А разве любить должны?

– Нет, Полюшка. Не должны. Оттого я и плачу. Идём домой.

– Идём, дедушка. – И Поля ещё раз поправляет плед на укутанном, как младенец, труп Дика.

– Мне кажется, что ему уютно и тепло, – говорит она старой вишне во вкусных подтёках смолы, под которой сухим немым воем сдавливая себе гортань до хрипа, похожего на агонию, Буся.

Через месяц мама предлагает Поле «купить собаку». У мамы хорошее настроение, и она даже зашла к отцу в кабинет.

– Какую собаку? – спрашивает Поля маму. – Как можно купить того, кого уже нет?

– Особенно если этот кто-то – любовь, – добавляет саркастичный дед.

– Это ты, папа, разрешаешь ей всякие глупости! Ты думаешь, я не знаю, что ты повёл её смотреть на труп собаки?! – Мама редко восстаёт против властного деда, и Поля каждый раз сильно пугается и хочет из видимки стать невидимкой. – Да языком Штерна можно экватор три раза обмотать! Только в извращённом безумием мозгу могла возникнуть мысль вести пятилетнюю девочку смотреть на собаку, убитую выстрелом в голову! Ты растишь из неё жестокое чудовище! Ей никого не жалко! Ни меня, ни Витьку, ни Бусю, ни даже эту дурацкую мёртвую собаку, в конце концов! Видишь?! Живую она не хочет, радуйся, папочка!!! – плачет мама.

Поля хочет сказать, что это не дедушка, а она сама. Но он может постоять и за себя, и за неё. И девочка бочком пятится к двери, чтобы тихо-тихо, незаметно выйти из дедушкиного кабинета. Она никогда не боялась Дика, ни живого, ни мёртвого, никогда не боится деда, даже во время припадков гнева. К дедушке всегда можно подойти, обнять и погладить пальчиком между глаз и по носу, и десятибалльный шторм моментально сменится полным штилем. Но отчего-то очень боится свою собственную маму, к которой если и подойдёшь и погладишь, так она спросит: «Ты поняла, как ты виновата?» – и ещё полчаса будет «быкать». А дедушка не быкает и не спрашивает, понимает ли она, Поля, как виновата. Никогда не спрашивает, просто обнимает. Даже виноватую. Даже тогда, когда Поля рисует круги в треугольниках на его важных бумагах. Даже тогда, когда она ушла и заблудилась, потому что перед дождём дорога на пляж была светлая, а после стала тёмная. И все вначале радовались, что она нашлась, а потом ругались, что она потерялась, а дедушка просто сказал, что дорога – она не светлая и не тёмная, а просто – твоя, и её не надо искать, надо просто знать. И у дедушки никогда не болит голова, даже когда сильно болит. Мама оборачивается на шорох, и её взгляд упирается в Полю:

– Скажи, скажи мне, тебе меня не жалко?!

– Ответь маме, Поля. Только не ври, – спокойно говорит дедушка, но его спокойствие страшнее маминых криков. Но деда Поля всё равно не боится.

– Н-н-нет, – наконец говорит она. – Мне тебя не жалко, мамочка. Я тебя... – Но мама не даёт Поле договорить.

– Отлично! Ваша школа, глубокоуважаемый Андрей Павлович! – зло и внезапно тихо говорит мама и смотрит на деда испепеляющим взглядом. Но дедушка почему-то не испепеляется. Дедушка смотрит маме в глаза спокойно и холодно. Долго смотрит. Достает из портсигара сигарету, прикуривает и смотрит. Наконец мама не выдерживает и отводит взгляд.

– Ты никогда не любил меня. Ты всегда любил только маму и теперь вот эту пигалицу. Что в ней есть такого, чего нет во мне? – преодолевая судорогу мимической мускулатуры, тихо и медленно спрашивает дедушку мама.

– В ней есть любовь. Бескорыстное дарение. Искреннее приятие, – отвечает дедушка, деланно-равнодушно пуская дым кольцами. – И ещё она умеет *слышать* то, что другие даже *слушать* не хотят.

И тогда в глазах Полиной мамы на мгновение вспыхивает огонь *разумной* расчетливой жестокости... Безумной взрослой человеческой жестокости.

Но лишь на мгновение. Она уходит, и всё её ладное стройное живое тело, и даже гладкие блестящие густые русые волосы, и модное платье из магазина гэдээр скорбят, с трудом перевозимогая силу и красоту жадной молодой жизни.

– Животные и некоторые дети лучше взрослых хотя бы тем, что они не играют роли. Или хотя бы изредка меняют амплуа, – обращается дедушка к дубовому письменному столу и гасит бычок в пепельнице. – Если станешь такой – собственноручно пристрелю, чтобы не мучилась! – совершенно серьёзно говорит дедушка Поле. – Ты не представляешь, какая это страшная пытка – жить, когда весь мир тебе должен. Куда ни плюнь – сплошные должники, и никто ничего отдавать не собирается. Я понимаю Дика. Понимаю, почему он умер. Но у меня есть вы. Меня больше. Я сильнее. Сильнее ровно на вашу любовь – бабушкину и твою. Потому мне не так тяжела и мучительна ноша любви невзаимной.

– Дедушка, а можно я у Макса на раме поеду на Костанди за ничьими абрикосами? – спрашивает дедушку Полина.

– Ах ты ж моя умница! И как же это ты уломала, наконец, жестокого Макса?

– Он сам предложил, дедушка. По-тихому от братьев спросил, правда ли, что я подошла к сбесившемуся Дику и поцеловала его в нос или старик Пустобрех врёт? А я сказала, что мне всё равно, что говорят и кому он верит, потому что это только моё. И даже если он меня никогда не свозит на раме на Костанди, я всё равно скажу ему, что Дик не сбесился.

– И что Макс? – заинтересованно уточняет у Поли дедушка.

– Сказал, что отвезёт меня на Костанди, и даже на Десятую станцию, и вообще куда угодно, когда я только пожелаю.

– Хм. Умный внук у Штерна получился, как ни странно. Ну, беги, раз такое дело, успевай. Твои пажи стремительно молодеют.

Поля уже далеко и от испуга, и от дедушкиных разговоров. Чудесный день, светит солнце, но не жарко, потому что с моря ветер. Нежный ласковый ветер, ласкающий тело, как умеют ласкать только южные молодые ветры. Атласный ветер, и если, пока идёшь или бежишь, он только чуть-чуть поглаживает, то вот если гнать на велосипеде – это наверняка приятнее пломбира с сиропом в стекляшке на Тринадцатой. Макс обещал угостить её, но даже дедушке это говорить не обязательно. Костанди выходит как раз на Тринадцатую, а там до Шестнадцатой раз плюнуть.

Сперва ветер, потом растекающееся по языку мороженое. Оно вначале ледяное, но если подержать его во рту, то вкус расслаивается. Самое вкусное даже не это. Самое вкусное происходит, когда толстая тётка в белом колпаке сперва макает крохотный половник на длинной ручке в чан с кипятком и только потом скребёт по поверхности бескрайней вечной пломбирной мерзлоты, оставляя глубокую запятую, и почему-то получается идеальный шарик. И таких шариков в металлической вазочке целых три. Потом тётка щедро и ловко поливает шарики коричневым сиропом и, если захочешь, посыпает шоколадной стружкой. Настоящее чудо! Поля уже давным-давно, целую неделю назад, когда ей исполнилось шесть и дедушка со стариком Пустобрехом повели её и Витьку в кафе, твёрдо решила стать продавцом моро-

женого. Какое же это удовольствие – целый день делать такие красивые круглые белоснежные шарики, всегда, а не только редко-редко, когда в этом городе выпадает недолгий нестойкий небелый снег. Дик эту идею наверняка одобрит, даже если он сейчас этот... как его... Квак? Лягушка, что ли? Лягушка бытия. Нет, пусть Дик будет зелёный абрикос бытия или белоснежный шарик бытия. Или даже шоколад и сироп бытия. В общем, где квакнет в отмеренное время мера малая или даже и запахнет ванилью, там и бытует Дик.

* * *

Ну что, любезный мой читатель, вы уже сто раз пожалели, что прочли эту историю? Автор вас предупреждал. И если он написал, что в каждой истории будет зарыта большая собака, то почему вы не поверили? Вы полагали, что это только фигура речи? Отнюдь. Зарытая большая собака – это иногда просто зарытая большая собака. Автор предельно правдив, отчасти и потому, что у него был дедушка, совершенно случайно похожий на дедушку героини истории бунта Дика. В том смысле, что авторский дедушка учил автора не врать. Не врать никогда и ни при каких обстоятельствах. Поэтому автор врёт только мужу. Бывало, спросит муж автора:

– Деточка, у тебя голова болит?

И автор, преодолевая спазм мимической мускулатуры, улыбается и отвечает:

– Нет, Папа. Ты же знаешь, что у меня никогда ничего не болит!

Правда, Папа всё равно не верит, потому что нюх у Папы – как у большой собаки. Потому что в больших мужчинах есть всё то, что и в больших собаках.

Но, кажется, автор начинает рассказывать свою историю, а вам до неё ещё много страниц надо перестелить... Простите, перелистать.

История мученичества, или «Квинтэссенция сюрреализма» (Виля)

*По городу рыщет пёс – он ищет меня.
Его чуткий нос находит мои следы
В пятнах огня,
В бисерных кругах мокрых берёз.*

*Когда он меня найдёт,
Он споёт мне песню дождя.*

*Будет жутким его напев,
Похожим на безумство волка,
Нашедшего в голодной тайге
Раненого брата по крови.*

Когда он найдёт меня...

«Пёс»

Так ли вам не по нраву промышленные районы города, как не по нраву они мне? Или, может быть, вам приятно присутствие крупнодисперсной нерастворимой пыли, ровным слоем укрывающей всё живое в радиусе пары километров от эпицентра цементного производства? Или, скажем, невыносимое благоухание, источаемое мясокомбинатом в самую душу лета – июль, – вам по душе? Запах мазута? Вечное облако муки над терминалом? Выжженная Жевахова Гора,¹⁰ вечно лысая, вечно замурзанная? Безликие новостройки, набитые безликими же коммерсантами (читай – «мелкими пройдохами») земли русской? Или старые, покосившиеся, спаянные, как сиамские близнецы, «шанхай» рабочих районов? Близкие потомки выходцев из общежитий ГОП и хитрые крикливые украинские торговки? Автору не очень. Потому по долгу писательской службы и, соответственно, по велению скорее разума, чем сердца, отправляюсь туда, где сейчас стоит восемнадцатилетняя Лидочка, одна из ключевых фигур следующей истории. Не оставлять же её, в самом деле, одну в этом непривычном для неё районе. Она умная девочка, но пока слишком юная. Потому морщит нос и с лёгким оттенком высокомерия всех выросших в «центре» недоумевает: «Как это можно любить?!» Она пока не понимает, не знает, что «нравится» и «люблю» – не синонимы. Даже не предполагает, что можно любить то, что не нравится, и ненавидеть нравящееся. Пока Лидочке...

...не нравится этот район.

Лидочке не нравится этот трамвай.

Ей, все детские лета загоравшей в тени старых акаций Амбулаторного переулка, в окружении людей, говоривших на чистейшем русском языке и даже её, совсем малышку, называвших по имени-отчеству, не по нраву пьяные, потные и грязные грузчики мебельного магазина, матерящие друг друга, всё и всех вокруг, а также бога, душу и мать. Щедро отвесившие и Лидочке вдогонку грязные словечки под дружный фрикативный гогот, когда она вышла из трамвая.

Девушке Лиде, прежде ходившей лишь по белым насыпным пескам пляжей справа, не по душе чумазая мелкая каменистая труха левого берега. Бифуркация, начинающаяся морским вокзалом, чудовищно несимметрична. Бронхи терминалов, артерии и вены железнодорожных

¹⁰ Жевахова гора – единственная точка Одессы, с которой открывается вид одновременно на Хаджибеевский, Куяльницкий лиманы и Черноморский залив.

и автомобильных путей sinistra¹¹ чудовищно гипертрофированы беспрестанным обеспечением обмена веществ между крупным промышленным центром и прочим миром. Бездельным пляжам dextra¹² вполне хватает тоненьких ломких сосудов пешеходных дорожек и нервных волокон трамваев для жизнеобеспечения симбиотических, сопутствующих основной – производственной, – дачной и санаторно-курортной форм жизни. Сердце этого странного города – морской торговый порт – никогда не прекращает своей более-менее ритмичной деятельности, как это и положено любому сердцу. В то время как шахматно-расчерченный мозг города, так недавно заканчивавшийся для Лидочки полукруглой улицей Комсомольской,¹³ днём и вечером делает вид, что он культурный и научный центр, полный памятников архитектуры, высших учебных заведений и легендарных достопримечательностей вроде безымянного Оперного театра и Лестницы, названной в честь не то броненосца «Потёмкин», не то восстания на нём, не то в честь катящейся по лестнице детской коляски, известной всему миру. Отключаясь от мыслительной деятельности незадолго до наступления густой южной непроглядной томной ночи, похожей по консистенции и вкусу на приторный мармелад, как отстраняется женщина от всего в преддверии оргазма. Чтобы ранним утром утолить жажду недолгой пустынною и снять неловкость похмелья суетливой нарочитой деловитостью.

За зоной доисторического Порто-Франко существуют и прочие нормальные и патологические анатомии и физиологии города, но восемнадцатилетняя Лидочка с ними не слишком хорошо знакома.

Кварталом выше кинотеатра «Родина» находится Еврейская больница,¹⁴ где Лидочка побывала дважды. Нет-нет, Лидочка очень здоровая девушка, она была там «с визитами». Первый раз с одноклассницей Маринкой Гендельман, когда Сашке Сорочану вырезали аденоиды. Маринка была в него влюблена, но идти одна стеснялась. Лидочке было непонятно, за что влюбляться в похожего на коммунального таракана Сашку, чей папа водит троллейбус, а мама – толстая и некрасивая, но пошла с подругой. В основном, чтобы увидеть то, что в книгах именовалось заветно: Молдаванка.¹⁵ Никаких признаков хулиганской романтики на грязной улице Богдана Хмельницкого она не обнаружила. Вспомнила только, что именно эти скучные, ничем не примечательные пейзажи они насквозь проезжали на третьем троллейбусе два раза в год, когда класс снимали с уроков и в сопровождении классного руководителя отправляли в «зубодралку» на полную предвосхищения опасности «санацию зубов».

Тогда они с Маринкой сперва честно зашли в «приемное отделение». Так громко именовалось похожее на заводскую проходную помещение с турникетом, злой тёткой за окошком и какими-то комнатами, куда девочек не пустили.

– Пошли отсюда! – сказала Маринка.

И повела подругу за угол.

За углом, на перпендикулярной улочке, в пяти минутах ходьбы от «проходной», на улице, о которой псевдоблатным гнусавым хрипом частенько голосил соседский магнитофон: «Улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя...» – оказались огромные открытые настежь ворота, увенчанные вывеской «Одесская ГKB № 1, БСМП», а ниже белой краской было напи-

¹¹ Лево (лат.)

¹² Право (лат.)

¹³ Прежде – Портофранковская, ныне – улица Старопортофранковская.

¹⁴ Была основана в 1800 году на 6 коек. Первоначально – исключительно для евреев, отсюда сохранившееся исторически название.

¹⁵ Историческая часть Одессы. В конце XVIII века Молдаванка представляла собой отдельное поселение, состоящее из двух десятков домов, в 1820 году вошла в состав города. Это было рабочее предместье Одессы, где разместились промышленные предприятия и где проживали их работники. Сегодня Молдаванка по-прежнему является преимущественно промышленным районом. Мировую известность получила благодаря «Одесским рассказам» Исаака Бабеля.

сано: «Только по пропускам и для служебного транспорта!» У них не было ни пропусков, ни тем более служебного транспорта, тем не менее девочки беспрепятственно вошли на территорию. Маринка топала решительно, неся на лице профессиональную отстранённую презрительность, подсмотренную у матери – старшей медсестры гинекологического отделения этой самой Еврейской больницы. Лидочка несмело ступала следом, втайне восхищаясь причастностью подруги к тайнам абсолютно чужого для Лидочки «монастыря». Маринка, правда, знала только место свободного «нелегального» входа и где находится «женская гинекология» – вот корпус, прямо напротив ворот. На крыльце сидели дамы разных видов и возрастов с одинаково печальными выражениями лиц.

– Где ЛОР-отделение? – строго спросила у них Маринка.

– Там, – женщины замахали руками в разные стороны. – А вам чего?

– Ничего! – отрезала Маринка. – Эй, привет! – крикнула она, заметив толстого дядьку в «двойке» из белой простыни – бесформенные штаны и рубаха без застёжек с короткими рукавами. Он дымил папиросой «Беломор» и беседовал с замарашкой в застиранном халатишке. Дядька поглаживал здоровенной волосатой ручищей эту бесцветную девицу, кривившую некрасивое бледное личико и кусавшую губы, по спине и говорил ей какие-то тихие слова. Девица продолжала нюнить. «Дура какая-то!» – внезапно зло подумала Лидочка и тут же выругала сама себя. За то, что ей понравился незнакомый, нелепо одетый, старый, толстый, громадный некрасивый мужик, и за то, что не понравилась ни за что ни про что какая-то несчастная заплаканная серая мышь.

– Здравствуйте, Мариночка. Сейчас за угол, потом прямо, а затем налево, девочки, – ласково ответил мужчина.

– Спасибо, Михаил Самуилыч! – нехарактерно для неё вежливо ответила дядьке Маринка. – Это Валиевский. Заведующий маминим отделением, – тут же тихо доложила она Лидочке. – Страшный бабник, как ему *это* не надоело? – добавила подруга следом совсем другим, явно маминим тоном. – Даже тут баб гладит, видишь? – торжествующе прошептала одноклассница уже явно от себя.

– Она же страшненькая и в больничном халате! – удивилась Лидочка.

– Вот такие они, бабники, им что страшненькая, что не страшненькая, что в парче, что в парше – всё равно, – вздохнула Маринка.

– По-моему, он её как-то не так гладит всё-таки. Не как бабник, – возразила Лидочка.

– Ну, не знаю. Мама говорит, что он, – Маринка смешно закатила глаза и, пародируя свою мать, густо прошептала, – обаятельный, очаровательный, мужчина-мужчина-мужчина. Тьфу! Пошли ЛОР-отделение искать.

– Пошли. Мне он тоже понравился, представляешь? Ужас! Руки страшные, волосатые. Слушай, а чего он «Беломор» курит? Врач всё-таки.

– А что должен курить врач? – уточнила Маринка.

– Ничего. Он же врач! – укоризненно ответила Лидочка.

– Ой, ты бы знала, что эти врачи вытворяют! – махнула подружка рукой снова явно не своим жестом. – Кстати, он мне тоже нравится. Во-первых, он себя со мной ведёт, как со взрослой, а не как с девчонкой, а во-вторых, у него в кабинете всё можно трогать и он про всё очень интересно рассказывает. Я его даже в щёку как-то поцеловала! – гордо сказала Маринка.

Они все равно заблудились, зайдя и в терапию, и в какие-то разные хирургии, и в какой-то совсем уж непонятный сарай. С другой, парадной стороны «сарая», который подружки прошли насквозь, было написано: «Кожно-венерологическое отделение».

– Надо срочно помыть руки, а то у нас будет сифилис! – сказала всезнающая Маринка и деловито погрызла ноготь указательного пальца правой руки.

Наконец, искомое – «Ото-рино-ла-рин-го-логи-чес-кое, – по слогам прочитала Маринка, – белиберда какая, язык поломаешь!» – отделение было найдено, прооперирован-

ному накануне Сашке были вручены нарезанные ромбиками каменные козинаки, дубовые ириски, твёрдые кислые зелёные яблоки и Маринкины ахи и охи.

Еврейская больница Лидочку не впечатляет. Увиденное нынче походит на услышанное прежде ровно настолько, насколько мифы похожи на правду. Полыхающие всеми майскими жаркими цветами юга клумбы соседствуют со сваленным хозяйственным мусором. Ковыляющие больные сталкиваются со стремительно шагающими, курящими на ходу врачами. Мужик с наружностью сторожа дымит папиросой на обшарпанной скамейке, сам с собой разговаривает и часто гневно сплёвывает на усыпанный окурками асфальт. Внутренности корпусов нарезаны на казарменные помещения, как их представляет себе Лидочка из книг. Она очень начитанная и очень наблюдательная девочка, потому всё время удивляется несоответствию мира со-страничного миру реальному.

«Ну вот, например, если уж речь зашла о еврейском, где то еврейское кладбище, сидя на заборе которого можно представить, что у тебя «на носу очки, а в глазах осень», как написано у Бабеля? Есть трамвайная остановка «Второе кладбище». Или, как называла его бабушка, «Второе католическое». Если есть второе, то где же первое? Иногда вместо «Второго кладбища» эту же самую остановку кондукторы называют «Еврейское кладбище». Или совсем просто: «По требованию». По требованию кого?..» – думает Лидочка, как думают все подрастающие дети – обрывками, ассоциациями, образами и прочей ерундой.

– Где оно, еврейское кладбище?! – спрашивает бабушку Лидочка.

– Напротив, – показывает бабушка на величественную арку, торчащую посреди перекопанного поля, полного никогда не работающими бульдозерами. – Скоростную строят. По еврейским костям ездить будут.

Второй раз Лидочка была в Еврейской больнице годом позже. У аденоидного Сашки уже начал ломаться голос, у Маринки Гендельман выросла грудь и пошли месячные, и она теперь чуть ли не каждую неделю отпрашивается с уроков физкультуры. Когда физрук Виктор Васильевич отказывается верить в столь частые девичьи «неприятности» и отправляет Маринку в медпункт, она идёт туда с видом оскорблённой королевы. И непременно приносит ему белую бумажку с треугольной печатью (благо у мамы в отделении их завались, а у этого дурака ни разу не хватает сообразительности прочитать мелкие синие буквы по периметру), швыряет в раскрытый классный журнал, покоящийся на потрёпанном «козле», и величественно, медленно, надрывно кривя лицо и придерживая ладонями низ несуществующего живота, как полный до краёв ночной горшок, удаляется.

– Строит тут из себя! – фыркает вслед противный физрук.

– Некоторым и строить не из чего! – не остаётся в долгу языкатая Маринка, счастливая хотя бы тем, что ей уже не нужны пятёрки за нормативные секунды и метры.

Сашка Сорочан бренчит на гитаре, Маринка Гендельман стала девушкой, а у Лидочки Юсуповой умер дедушка.

Сначала дедушку «уходят на пенсию», потому что «все сроки в заведующих пересидел». Затем дедушка устраивается куда-то ночным сторожем, потому что не знает, чем заниматься.

– Я не могу с детьми и огородами возиться, как ты! – говорит он своему старому другу за стаканом самогона. – Тошно мне. Я должен просыпаться рано, вставать тут же, тягать гирию, обливаться холодной водой, бриться, одеваться и идти, понимаешь?!

– Да тебе уже семьдесят с гаком! – восклицает его словоохотливый товарищ. – Просыпайся, вставай, тягай, обливайся, брейся-одевайся, да иди себе сидеть в тени винограда и газеты читать.

– Не могу. Так – не могу.

И подаётся в сторожа. Днём в своём кабинете перебирает старые фотографии, что-то пишет в ветхие блокноты и меряет расстояние между стенами в шагах. Потом спит. Просыпается поздно, встаёт тут же, тягает гирю, обливается холодной водой, бреется, одевается и идёт сторожить. Дедушке «семьдесят с гаком», но он может стоять на голове «без рук и стены», и вообще очень сильный и «физически подготовленный», если пользоваться казённым языком школьного учителя физкультуры. Дедушку никто не учил физкультуре, он сам всю жизнь «культивирует своё физическое тело», если говорить прекрасным и загадочным, чуть насмешливым дедушкиным языком. Дедушка отстраняется от Лидочки, потому что, как он сам говорит ей: «Всему, чему мог, научил. Больше мне сказать тебе нечего. Теоретический курс изложен в самые оптимальные сроки – за первые пять лет. Дальше человек или научается учиться сам, или всё без толку. Так что пора приступать к самостоятельным лабораторным практикам».

Да и она сама куда реже бывает в доме у бабушки с дедушкой, хотя, оказывается, они вовсе не так далеко, как в детстве, живут. Всего-то дойти до площади Октябрьской революции, сесть на восемнадцатый трамвай и доехать до конечной остановки, до 16-й станции Большого Фонтана. Или до железнодорожного вокзала – на двадцать шестой или двадцать девятый. И выйти на 8-й станции Черноморской дороги, но оттуда дальше идти пешком, хотя вокзал чуть-чуть ближе площади Октябрьской революции. Так кажется Лидочке в тринадцать. В семнадцать вокзал и площадь с указующим перстом «вечным дедушкой», одетым в бетонное пальто, вдруг очутились не просто рядом, а прямо-таки разными сторонами одной дороги. Дороги, положенной на еврейские кости, разгрузившей трамвайный «пассажиропоток» и значительно облегчившей передвижения «Центр – Черёмушки – посёлок Таирова – Центр».

Да и времени сейчас меньше. Вернее, время внезапно стало конечно. Если в пять лет, просыпаясь рано-рано, Лидочка знает, что перед ней расстилается такая чистая, свежая, пустая, бескрайняя вечность, течением дня заполняющаяся пережитым, что наверняка к вечеру она, Лидочка, будет такой древней старухой, что лечь и умереть совсем не страшно и даже нужно. Куда уж больше? Больше в неё не помещается!

– Представляешь? Бабочки живут всего один только день! – говорит ей мама.

Лидочка очень хорошо представляет и не понимает, почему мама расстраивается, что бабочки живут «всего один только день». Скажет тоже, «всего». Это не «всего один только день». ЭТО ВСЁ – один только день. Как мама не чувствует? На самом деле *все* живут *всё* один только день, а потом умирают. А на следующий день снова рождаются. Просто так, без причины. И умирают без причины, просто пережив *всё* отмеренное неизмеримое. И рождаются без причины с предощущением *всего*. Просто, пока время ещё не становится *конечным*, помнят после утреннего рождения, что было перед вечерней смертью.

– Не расстраивайся, мамочка! – утешает маму Лидочка. – Бабочка сегодня умрёт, а завтра снова родится!

– Глупая ты, не понимаешь! – улыбается мама Лидочке.

– Дедушка говорит, что я умная.

– Дедушка у нас вообще много говорит. Особенно того, чего не надо, – сердится мама.

«А потом оказалось, что люди не умирают каждый день, а просто спят. Было даже как-то обидно. Потому что если ты рождаешься и умираешь каждый день, то времени у тебя – полная бесконечность. Когда уже начинаешь просто спать, то оно, время, превращается в графы дневника, в календарь, где красным отмечены выходные и праздники. И сразу уменьшается под этими присвоенными значениями. Время пугается интервальности и съживается, как облитый крутым кипятком целлофан, и куда-то девается, как свежие красивые живые грибы тоже деваются куда-то, будучи вывалены на раскалённую сковородку. Бабушка говорит, что они

ужариваются. Теряют воду. Вот так и время ужаривается, теряет воду, и этих самых «вод времени», вычитанных из того романа «Китайская философия», что валяется у деда на столе, тебе всё время не хватает, чтобы напиться. Ты глотаешь и глотаешь время, а жажда остаётся. Естественно, ты же пьёшь уже уjarенное, потерявшее воду сухое время».

Примерно так время от времени размышляет Лидочка, начавшая спать от усталости, перестав умирать от пресыщения бесконечностью. Лидочкино время «ужаривается» школами общеобразовательной и музыкальной. «Теряет воду» в бассейне «Динамо». Испаряется в «воронцовском» дворце пионеров имени Яши Гордиенко.¹⁶ Усыхает за выполнением бесконечных домашних заданий «по предметам». К чистым источникам беспредметной воды Лидочка приникает всё меньше и меньше.

– Моё время, дедушка, стало как-то быстро терять свои воды! – вздыхает постаревшая семилетняя Лидочка.

– Береги его, береги его, детка. Наслаждайся каждой каплей. Мучительна смерть бесконечности от временнОго обезвоживания. Другие, нормальные взрослые, не такие безумцы, как твой дед, называют эту мученическую смерть взрослением. Но какая разница, как ты умирал вечером – легко или мучительно, если утром снова непременно родишься, так или иначе? Иди, Лидочка.

Девочка послушно уходит в своё новое конечное время. Старик с вечной бесконечной любовью смотрит ей вслед.

Лидочка растёт, и её город перестаёт быть камерным, разделённым всего на два сезона, на две реперные точки бытия – квартиру и дом. Оказывается, что город не только её, Лидочкин, не только соседей и друзей, а и ещё кого-то. И этих «кого-то» очень и очень много. Город больше, чем «Центр», «Фонтан» и «Черноморка». Он больше мифов, книг и фильмов о нём, как время больше человеческих представлений, как вода – огромное знание о ней. И жизнь есть даже за границей старого Порто-Франко – улицей Комсомольской, – как есть вечность до рождения и после смерти.

Дедушка, не терпящий уплотняющихся пространств и замшелости пенсионного водоёма, как-то утром встаёт, тягает гири, обливается, одевается, бреется, уходит сторожить и не возвращается в положенный срок. Не возвращается и через сутки. Потом – не возвращается через двое. В последующее сорокавосемичасовое течение интервального времени Лидочкина бабушка и мама, обезумев от тревоги, звонят в милицию города, в морги города и в больницы города в попытках разыскать имя, отчество, фамилию, приметы и возраст. Лидочка, сама пугаясь того, что она надумала и собирается сказать, подходит к бабушке и тихо спрашивает её:

– Куда чаще всего в нашем городе попадают те, кто не жив и не мертв, похож на многих других и не может сказать, как его зовут и сколько ему лет?

– Чёрт! – вдруг выкрикивает никогда не ругающаяся бабушка. – Поехали в Еврейскую!

Они садятся в такси, подъезжают к «проходной» на Богдана Хмельницкого и через полчаса находят дедушку.

– Неизвестный. Доставлен в отделение реанимации в бессознательном состоянии каретой «Скорой помощи» сутки назад. Посмотрите, может, ваш? – равнодушно говорит дежурная медсестра.

Дедушка в большой палате, страшной уже тем, что в ней, как в мертвецкой (это слово Лидочка только что вычитала в «Яме» Куприна), вперемежку лежат и мужчины, и женщины. И почти все они в «бессознательном состоянии». «Это какое-то странное состояние – «бес-

¹⁶ Одесский дом пионеров размещался во дворце графа Воронцова.

сознательное», – думается Лидочке. – Оно не живое, не мёртвое и не спящее. Оно похоже на состояние медуз, выброшенных прибоем. Не движется, не начинается, не кончается, а... колышется. Вокруг море, солнце, визг малышни, а состоянию медуз всё равно. Они бессознательно колышутся. Отбросит кто-то в песок – и куски прозрачного студня съжаты, порвутся в сморщенные клочья, «ужарятся» на солнце. Возьмёшь за купол ладошкой, опустишь в волну – болтается в прибое. А что там с ней, в прибое, после *бессознания*?..»

К человеческим телам тянутся жуткие оранжевые резиновые трубки, надетые на воткнутые в плоть иглы. У иных изо рта торчат зловещие гофрированные шланги, будто высасывающие воздух из бессознательных людей-медуз в металлический ящик на колёсиках. У дедушки во рту ничего нет. Губы потрескались до ран. Щёки впали. Руки, прежде такие красивые, мускулистые и сильные, покрытые кожей в бархатную, приятную на ощупь, успокаивающую морщинку, сейчас багрово-синие и какие-то необычно дряблые, неприятные, как старый, изжжённый временем картон.

– Флебит, – поясняет взрослый красивый мужчина в белом халате, поймав Лидочкин взгляд. – Воспаление вен. – Но это так, осложнение терапии. Основной диагноз – кровоизлияние в мозг, возникшее в результате механической травмы головы. Плюс внутренние кровоизлияния в паренхиматозные органы, но куда его на стол?.. – Доктор вздохнул. – На операционный стол. – Уточняет он для испуганной Лидочки, – Его сильно избили, короче говоря. – Снова обращает он к взрослым женщинам. – И ещё обезвоживание. Судя по состоянию – цвету и тургору – кожных покровов, он долго лежал на солнцепёке, пока его не обнаружила какая-то собачница. Лето, сами знаете, какое. – Действительно, июль жаркий. До сорока градусов в тени. – Мы в вены лили, чего могли, но вы же понимаете... Он так и не приходит в сознание. Сердце пока работает, что удивительно. При таких лабораторных показателях непонятно, как он ещё жив. Как он вообще выжил? Такая дегидратация на фоне таких повреждений в его возрасте. Хотя мужик крепкий, редко такие встречаются. В общем...

– Доктор! Выйдем на минутку! – Мама уводит врача в коридор, чтобы поговорить наедине.

О девочке забывают, и она тихо стоит, боясь пошевелиться. Не потому, что ей страшно, а чтобы не заметили и не переключили внимание, так нужно сейчас дедушке, на неё. Бабушка садится на край кровати и берёт дедушку за руку. Спустя мгновение он открывает глаза, называет бабушку по имени, шепчет ещё пару слов и, как кажется Лидочке, наконец-то спокойно засыпает, видимо, устав от своего «бессознательного состояния».

– Я знала, что ты дождёшься. Знала, что ты не уйдёшь, не попрощавшись, – тихо говорит никому бабушка, и больше ничего не говорит никому целый месяц. Она молчит, даже когда мама рыдает и кричит:

– Боже, какая мученическая смерть! Какими подонками надо быть, чтобы избить старика и бросить его на пустынном солнцепёке?! Давно не было такого жаркого лета, даже трава выгорела вся! Вся трава выгорела! – оплакивает мама не то траву, не то отца, не то не сказанные ему её или ей его слова. – Он должен был умирать дома, в окружении родных и близких, в любви и заботе. А умер, как бездомный бродяга! Избитый, искалеченный, брошенный умирать на пустыре под палящим солнцем!

– Прекрати! – говорит ей Лидочкин папа и потихоньку кивает на бабушку.

Но бабушка не слушает. Или не слышит? И не плачет. Больше никогда – никогда не плачет. Ни на похоронах дедушки, ни при ком-то, ни сама с собой. А ровно через год, в день смерти дедушки, бабушка просыпается, убирает дом, приготовляет много вкусной «фирменной» еды, болтает с соседкой, и с мамой, и с Лидочкой. И такая добрая-добрая, мягкая-мягкая, вкусная-вкусная, как раньше. Шутит. Показывает старые фотографии и называет Лидочку «Лидией Фёдоровной». И Лидочке кажется, что ей снова пять, сейчас дедушка зайдёт в ком-

нату и возьмет её с собой на море. Ночью тёплая вода, огромные звёзды и можно никого и ничего не бояться, а, сидя на дедушкиной сильной руке и крепко обняв его за шею, с восторгом ждать, когда он, картинно поохав, окунётся вместе с ней. И Лидочка уйдёт под мокрую солёную воду с головой, спрячется от сухого мира, начинающего становиться конечным, в бесконечность неинтервального времени с одним-единственным *бесконечно своим* человеком.

Бабушка прямо сейчас дарит Лидочке красивые рубиновые серьги, дожидавшиеся совершеннолетия внучки. И даже наказывает маме:

– Не забирай. Отец подарил мне их на твоё рождение, пусть будут у Лидочки.

После чая она говорит, что устала, желает всем спокойной ночи и отправляется в ванную. Бабушка моется, надевает красивую ночную рубашку, ложится в постель и спокойно засыпает, устав от бесконечного дня жизни.

Лидочка очень хорошо помнит, что бабушка умирает от обширного кровоизлияния в мозг.

– Размером с детский кулак, сказал патологоанатом, – рассказывает мама папе, думая, что Лидочка ничего не понимает, хотя та давно уже не несмышленная малышка. Да и малышкой отлично смышляла. – Представляешь? Точно такое, как у отца! Откуда? У неё давление всю жизнь до самой смерти было, как у космонавта! И её-то никто не избил!

– Не понимаю, зачем тебе понадобилось её вскрывать? – спрашивает папа. – Ну, ладно – дед. Умер в больнице, фактически не приходя в сознание, доставлен с улицы. Но мать-то, умершую в собственной постели, тебе зачем понадобилось вскрывать?

– Ну, знаешь! Должна же быть у смерти причина. Не бывает вот так – трах-бах! – и на фоне полного благополучия...

– Ну и что, выяснила причину? – горько усмехается отец.

– Выяснила! Огромное кровоизлияние в головной мозг.

– Я тебя спрашиваю о причине, которую ты выяснила, а не о патологоанатомическом диагнозе. Который не только ничего не разъясняет, но даже никого ещё не оживил, надо же! – зло иронизирует папа, редко восстающий против властной жены.

Мама сильно сердится на него. Потом обижается и плачет. Папа извиняется и успокаивает маму. А Лидочка так и не понимает причину смерти бабушки.

– Ну, значит, если огромное кровоизлияние в мозг – причина смерти, а причина огромного кровоизлияния в мозг – удар по голове, значит, твоя бабушка умерла от удара по голове! – резюмирует Маринка Гендельман, как раз сейчас плывущая на лодке. – Ты её не ударила? – подозрительно вглядывается она в подругу.

– Что ты несёшь?! Нет, конечно! И мама, и папа не ударили!

– Значит, надо искать того, кому выгодна бабушкина смерть... – задумчиво посасывает кончик «конского хвоста» из густых тёмных длинных волос Маринка.

– Разве что дедушке, – по-старушечьи вздыхает Лидочка. – Наверняка ему одиноко без неё там... Где-то там... В бесконечных водах времени.

– Вот, значит, он и ударил! – безапелляционно заявляет подруга.

– Марина, хоть у тебя и грудь, и месячные, и физрука только ты можешь прищучить, но мне иногда кажется, что ты законченная кретинка!

– Нет, ну отчего же сразу кретинка?! Вот если она его так любила, а он, например, привидение, и тоже её любит, – тут же переключается Маринка на другой жанр, – и чтобы быть вместе, всего-то и надо, что умереть, то она вполне могла попросить его...

– Марина! Это всё-таки были мои дедушка и бабушка!

– Ладно-ладно, извини, что-то я и правда иногда кретинка. Не обижайся. Пошли газировки напьемся, пока время есть до звонка...

Напротив их школы стоит жестяная будка, где в гранёные стаканы за копейку наливают простую газировку, а за три – с сиропом. Маринка всегда пьёт с тройным за девять копеек.

– Как тебе после такого варенья пить не хочется? – удивляется Лидочка.

– Так вкусно же!

– Воду пьют для того, чтобы утолить жажду, а не чтобы слиплось.

У Лидочки особые отношения с жаждой. Они с жаждой уважают друг друга издалека. Лидочка никогда не забывает брать с собой на море бутылку с пресной водой. Фонтанчики есть не на всех пляжах. Да и среди тех, что есть, действующие далеко не все. Пресной водой можно напиться. Тёплой газировкой – никогда. Девочка предусмотрительна, и жажда не трогает её. Если не уважать (и не уважить) жажду, если относиться к ней пренебрежительно и легкомысленно задеть, на её защиту придёт страшное чудовище Обезвоживание.

Школьные сентябри жаркие.

Но не такие жаркие, как первый студенческий июль. Последний экзамен летней сессии успешно сдан вчера на «отлично с отличием». И вчера же вечером Лидочка вздорит с мамой. Та не хочет отпускать её «с ночёвкой» к Ленке Лисневской. Лидочка пытается выяснить причину, по которой она не может весело провести время с друзьями на берегу моря ночью, но мама причину не говорит. Она говорит, что днём Лидочка может веселиться с друзьями на берегу моря, а вечером должна будет отправиться домой. И чтобы не позже одиннадцати! Но ведь на море они собираются именно вечером, когда спадает самая сильная жара. На всю ночь. Отпраздновать сессию.

– Ничего не знаю! Чтобы вечером была дома! Никаких ночёвок! И расскажи мне, кто там будет!

– Мама, да я всех и не знаю. Ленка Лисневская будет. Это её дом. Бабушка оставила в наследство. Она там сама живет. Одна. Правда, родители за забором, но всё равно одна. Вернее, даже с мальчиком. Ну, не то чтобы с мальчиком. Скорее с мужчиной. С Петей. Ему двадцать шесть.

– Вот видишь! А ты – с ночёвкой...

– Мама, но он не зэка, не насильник, он – врач. Друзья его будут. Тоже врачи. Ну и мы с Ленкой, и ещё девочки, ты их не знаешь.

– Зато хорошо знаю, что происходит, когда в одном месте ночью собирается много мальчиков и девочек!

– Мама! Мы собираемся есть шашлыки и купаться в море!

– И пить!

– Конечно. Жарко же!

– Не прикидывайся идиоткой.

– Я не прикидываюсь. Я честно тебе говорю, что мы будем пить холодное вино. Ленкин папа пообещал принести. Ленкин папа тоже не что-то там, а хирург. Отделением заведует. Приличная компания. Никаких водителей троллейбусов и прочего пролетариата. Сплошь интеллигентная публика, – не удерживается Лидочка от ехидства.

– Ещё неизвестно, что хуже.

– Мамочка, но я же должна с кем-то встречаться. Хоть с кем-то. Ну, не с мальчиками, так хоть с девочками. Гулять. Музыку слушать. И всё остальное.

– Ещё не время для всего остального! – отрезает мама.

– А когда оно, время, мама, если мне через несколько дней уже полных восемнадцать?

– Когда-когда. Тогда. Тогда, когда кто-то придёт в этот дом, познакомится с родителями...

– Мама! Но чтобы кто-то пришёл в этот дом, я должна с ними как-то, где-то знакомиться! И, вспомни, сюда уже приходили. И Генка...

– Колхоз! – фыркает мама.

– И Ванька.

– По лицу видно, алкоголик. И глаза, как бараньи яйца.

– Мама, я не знаю, как выглядят бараньи яйца, но у Ваньки красивые, чуть навывкате карие глаза.

– Жид потому что, вот и карие навывкате.

– Ладно. Генка – колхоз. Генка, талантливейший Генка, способный обаять всё, что попадает в периметр его ауры, невзирая на лица и чины, – колхоз! Ванька, милый, забавный, трогательный Ванька, Иван Петрович Баклушин – жид, о боги. Мам, ты сама себя послушай, пожалуйста, хоть иногда! Ну, а Герман чем тебе не угодил?

– Мажор! Сидит валяжно, смотрит нагло, ключики от папиной машинки на пальчике покручивает. Да и слишком взрослый для тебя. Имя ещё это дурацкое – Герман. Германович. Германовна. Гер-ман-овна. – Интеллигентная стройная Лидочкина мама сейчас, в свои сорок, похожа на невольно подражавшую «пролетариям с Молдаванки» одиннадцатилетнюю Маринку. – Овна. Ужас!

– Мама, о чем ты? Я не собираюсь срочно рожать от Германа, Генки, Ваньки или ещё от кого. И, кстати, – смеётся Лидочка, – почти от всех получаются «ович» и «овна». Сидел и смотрел Герман нормально, извини уж его, что не как двоечник на педсовете согбенно стоял на полусогнутых, подобострастно глядя в пятый угол. Да и машина эта не папина, а его собственная. Старая японская дешёвая там машина. Он из рейса привёз. И ему всего двадцать четыре. Он старше меня на шесть лет. Папа старше тебя на пять.

– И ещё он высокомерный надутый павлин, этот твой Герочка! – пропускает мама подсчёты мимо ушей.

– Да какой же он надутый павлин? Скорее уж ты, мамочка, курица-скандалистка! Герман просто сел на табуретку, после того как ты предложила присесть, просто смотрел тебе в лицо во время отнюдь не светской с твоей стороны беседы, просто держал ключи от машины в руках. А ты ему такое говорила, что я чуть от стыда не сгорела.

– Лида! Я тебе только добра желаю! – строго говорит мама. – Потом спасибо скажешь!

После этой фразы про пожелание добра и последующее спасибо любые споры превращаются в скандал, потому Лидочка замолкает. Но решает, что всё равно поедет к Ленке, а там видно будет.

С Ленкой она дружит недавно. Они с разных факультетов. Случайно присели за один столик в студенческом кафе, и дома у неё Лидочка ещё ни разу не была. Потому что Ленка живёт страшно далеко. Если раньше казалось, что Маринка Гендельман живет страшно далеко – аж через три квартала, то что уж говорить о Ленке Лисневской, к которой надо добираться двумя трамваями в совсем неизвестную Лидочке часть города. А ведь Ленка каждый день ездит оттуда в институт, а потом возвращается обратно. И вроде неплохо себя чувствует. Есть ещё студенты, живущие на поселке Котовского, на Таирова, в городе Ильичёвске и даже в порту Южном! Лидочка ходит в институт пешком, как ходила в школу, и не понимает, как у постоянно курсирующих на далёкие расстояния однокашников ещё остается время на то, чтобы учиться, развлекаться и жить. Это ведь туда-сюда-обратно, поел, почитал и упал лицом в подушку. Чтобы утром всё сначала.

Но если они ездят каждый день, то неужто Лидочка развалится, если съездит один раз и пусть даже вернется вечером? Ничего страшного. Можно, конечно, позвонить Герочке, но как-то неловко звонить и просить отвезти, как будто она действительно маленькая, как кричала ему мама и тыкала осуждающим перстом в его белые штаны, где «торчал слишком большой».

Если звонить и просить, придется пригласить. Ленка против не будет, да только... Не сильно ей хочется быть с Германом в «тёплой дружеской обстановке». Потому что катания по городу, прогулки по паркам, переулкам и лестницам, кафе, и театры, и даже дневной пляж – это одно. А тёплая дружеская обстановка, куда вы прибудете вдвоем и ещё подогреетесь, – это совсем другое. Лидочке приятно с Германом, но не настолько, насколько он этого хочет. Он всё время этого с ней хочет, Лидочка отлично научилась разбираться в вопросе мужского хотения, хотя ещё и девственница. Нет уж! Девственность теряешь один раз, хотя мама считает, что Лидочка её уже «двадцать раз потеряла». Но какая разница, что считает мама или даже Папа Римский, если это твоя собственная одна-единственная девственность. И потерять её надо так, чтобы: а) не было мучительно больно, особенно если «торчит слишком большой»; б) не бесцельно её, девственность, потерять, лишь бы потерять, а красиво и с удовольствием, чтобы хотя бы приятные воспоминания. Не такой уж и тяжкий груз эта девственная плева. Ну, сколько может весить складка слизистой? Если она ещё есть, конечно. Потому что на нормальной анатомии и даже на гистологии-эмбриологии говорили, что, бывает, её и не бывает, этой складки. И ещё говорили, что она иногда очень растяжима, особенно если «первый половой контакт», выражаясь функциональным языком физиологии, «происходит с опытным партнёром», размышляет Лидочка.

– С экспериментальным! – гогочет кто-то из потока во время лекции.

– Что? – удивлённо переспрашивает доцент Бреус, бубнящий свою эмбриологию в огромные окна первой аудитории.

– Опытный партнёр. Партнёр, используемый в опыте, в эксперименте. То есть – экспериментальный! – разъясняет ему парень с верхней скамьи, ненадолго оторвавшись от партии в клуб.¹⁷

– Остроумно! – улыбается журналу доцент и мгновение спустя продолжает бубнить.

Маринка Гендельман теряет девственность сразу после выпускного. С Сашкой Сорочаном. Не впечатляется и как-то сразу разлюбливает Сашку, хотя все считают, что они поженятся.

– И ради чего стихи и песни? Ради трёх суетливых скомканных потных минут, когда тебе пытаются всунуть в маленькую дырочку деревянную палку, которая туда никак не помещается, а её наконец-таки впихивают со скрипом? Слава богу ещё, что сразу после этого палка тут же превращается в мокрую старую посудомоечную тряпку, пока её «носитель» дёргается, как повешенный, и хрипит. А ты, как дура, остаешься, где была – на траве, с кровавыми, неприятно пахнущими прокисшим творогом соплями между ног. Но тебе уже хоть не больно, и то радость. Пошла в жопу такая радость! – заключает Маринка и, провалившись в университет, отстригает гордость своих родителей – «конский хвост» толщиной в руку – и сбегает из дому в неизвестном направлении. – Буду путешествовать автостопом! – говорит она подруге и отчаливает с тощей сумкой через плечо.

Для послушной домашней Лидочки Маринкин поступок дик. Но она гордится тем, что у неё такая смелая подруга и «плевать на всех хотела». Лидочка тоже хочет на всех плевать, но боится последствий. Гордясь, рассудочная Лидочка втайне завидует безрассудству подруги. Маринка возвращается через полгода, резко повзрослевшая, страшно исхудавшая и переменившая мнение о «такой радости».

¹⁷ Карточная игра (она же «бридж-белот», «деберц», «пятьсот одно»). Среди основных отличительных признаков – восклицания «терц» и «клуб».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.